

## III

Потьлиха.  
Междоусобие

С этого момента я начал познавать, что значит быть секретарем и первым помощником, правой, так сказать, рукой великого человека. Это было одним из немногих моментов в моей жизни, когда я пожалел о том, что судьба свела когда-то вместе моих отца и мать, организовав, таким образом, мое появление на свет. Правда, страдная пора началась не сразу. Некоторое время — дней, приблизительно, пять — Абрам Матвеевич провел в экзальтированном самовосхищении. Он уже не носился шутихой по кинофабрике, не тараторил и даже почти перестал изливаться грозными ливнями на головы своих несчастных вассалов. Он медленно, походкой китайского бонзы во время священнослужения, прохаживался по фабричным коридорам, заглядывая без какой-либо определенной цели в различные отделы, иногда пританцовывал под какой-то изливавшийся на него с небеси мотив и даже не конфузился, когда кто-нибудь заставал его врасплох при этом странном занятии. Со слюнявых уст его не сходила блаженная улыбка, а в пивных его глазах отражалась вся глубина и синева олимпийских небес. Иногда, встретив в коридоре кого-нибудь из своих благожелателей (каковых у него к этому времени развелось неожиданно много), он принимал позу игрока на бильярде, у которого вся душа ушла в кончик кия, и, жуликовато подмигивая, говорил:

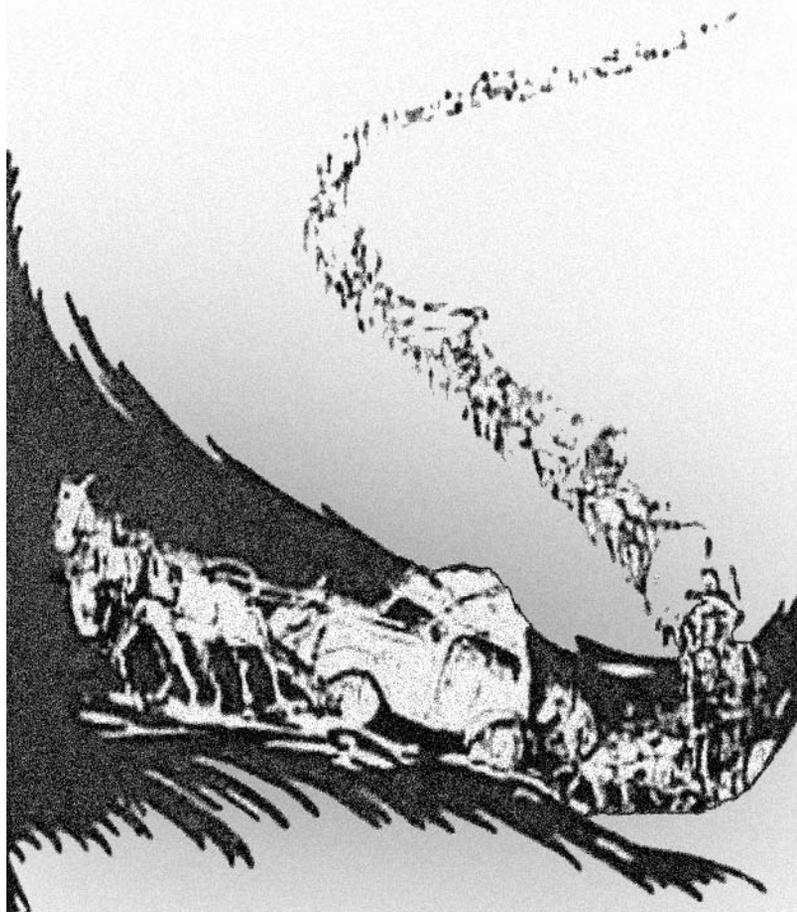
— От четырех бортов в угол... э?! Вот это я называю — комбинация! — при этом он делал правой рукой удар невидимым кием и начинал пританцовывать. Благожелатель улыбался ему восторженной улыбкой, такой, какой улыбается человек своему партнеру по выигравшему лотерейному билету, долго обеими руками тряс его мохнатую конечность и говорил:

Юрий СОЛОНЕВИЧ

# ПОВЕСТЬ

## О

# 22 НЕСЧАСТЬЯХ



Публикация Е. Г. Сойни

— Поздравляю, Абрам Матвеевич, от всей души поздравляю! Именно в ваших руках я и надеялся видеть такую грандиозную работу и т. д., и т. д.— Обычно такие излияния кончались тонким намеком на полную готовность со стороны намекавшего лечь костями у ног Абрама Матвеевича, если тот, конечно, соблаговолит принять такую мизерную жертву...

Впрочем, в эти дни Абрам Матвеевич не слушал, что ему говорили другие. Он пребывал в состоянии какого-то транса, и чувствовалось по всему его поведению, что если его брэнная оболочка и привязана к серому и обыденному *grae-sens*, то мозг его порвал тенета времени, в которых копошатся простые смертные, и витает где-то в сияющем и славном будущем.

Это были дни, немногие светлые окна в темном коридоре моей кинематографической деятельности, когда я был предоставлен самому себе и, втягивая носом весну, шатался по разбухшим салтыковским лесам. Отдавая Богово — Богови, а кесарево — кесареви, я вдруг потерял всякий вкус к одиночеству и стал извлекать из своих шестнадцати с половиной лет то небольшое количество пользы, которое они приносят человеку. Впрочем, и это мирное занятие не отличалось тургеневской чистотой и бездумностью. Над головой дамокловым кирпичом висела перспектива нашего побега за границу, который представлялся мне чем-то вроде полета на Марс в новоизобретенной ракете: бис его знает — а вдруг в астрономические вычисления вкралась какая-нибудь ошибка!.. Потом иди доказывай, что ты не верблюд. Впрочем, я не был против побега. Я только считал, что шансов на его успех еще меньше, чем в рулетке.

Я шил рюкзаки и прочее походное снаряжение, ездил на Сухаревку добывать всякими неправдами порох, пистоны и свинцовый лом, из которого можно было бы нарубить сечку\*, и старался по мере возможности не философствовать на тему о том, что дано знать одним лишь хиромантам и звездочетам.

\* \* \*

Калюжный в эти дни находился в состоянии мрачного раздумья. Зайдя к нему как-то от полноты весенней лени, я застал его лежащим на ди-

ване в одних штанах и лимонно-желтом войлочном сомбреро, таком, какие носят американские кинозвезды, околачивая груши на Палм Бич. В левой руке Калюжный держал прошлогодний отрывной календарь и, обрывая листок за листком, мрачным басом бормотал:

— Плевать — не плевать, плевать — не плевать... — и т. д.

При моем входе он предостерегающе поднял палец в знак того, чтобы я его как-нибудь не сбил со счета. На календаре еще оставалось сантиметра два необорванных листиков, так что мне пришлось прождать минут около десяти, пока не подошла очередь к тридцать первому декабря.

— Плевать! — вскричал Оська и с той неожиданной ловкостью, с которой толстые и огромные люди поворачиваются вокруг собственного центра, выпрямился на кровати. — Плевать! — он посмотрел на меня взором сумасшедшего, который заподозрил своего собеседника в недоверии. — Плевать!.. Ты что, думаешь, мне не плевать? — угрожающе спросил он.

— М-м... Почему бы и нет? — произнес я, начиная догадываться о смысле происходящего.— Все, конечно, зависит от того, куда плевать и по какому поводу. Ежели, например, в потолок.

— Бэ-э, в потолок! — Оська скривился в маску китайского демона. — Абрашке в рожу! Так, чтобы дух вышибло! Штоб он к стенке прилип и не мог отлипнуть! Штоб его!..

— П-шшш! — прервал я,— п-шшш! Куда это вы так разбежались?! И чего это вы теперь вдруг вздумали, когда у Роома уже все на мази?..

Оська, все с той же сумасшедчинкой в глазах, отпрянул к стенке. Потом он вскочил и, заложив руки по самые локти в бездонные карманы своих штанов, напоминавших внешним видом пустую оболочку воздушного шара, забегал из угла в угол по комнате.

— Плевать — не плевать, плевать — не плевать, — забормотал он, все повышая голос до почти истерической нотки,— плевать — не плевать... Куды ж мне деваться, Господи! — и он со стоном снова бросился на диван.

— Юрка, сукин сын,— начал он через минуту, не слыша от меня даже сочувственных реплик, — скажи ты! Устами младенцев глаголет истина! Скажи хоть ты, вражья душа! Пусть другие —

\* Свинцовые обрезки, заменяющие картечь.

грешные сволочи! Им не дано! Но ведь тебе Бог верит! Ты ж чистая бэбэшка, говори, что тебе твое невинное сердце бормочет! Ну?!

### Советский Холливуд

Деятельность началась внезапно и бурно, как извержение Везувия. На пятый или шестой день вынужденного бездействия, когда я после нескольких бесплодных попыток добиться от Роома хоть какого-нибудь вразумительного поручения остался, наконец, просто сидеть дома — я вдруг поздно вечером получаю в Салтыковку телеграмму, вызывающую меня немедленно, да еще не куда-нибудь, а прямо на Потылиху.

\* \* \*

Потылиха — небольшое село немного выше Москвы по течению Москва-реки — это, так сказать, советский Холливуд. Там на огромном участке земли расположено, или, точнее говоря, раскидалось, здание главной кинофабрики «Союзкино», с пристройками, ангарами, напорными башнями и, конечно, тоже со своей контрольной будкой. Участок, как лагерь военнопленных, обнесен колючей проволокой и представляет собою какой-то неравномерный пяти- или шестиугольник, метров около восьмисот по диагонали. Если посмотреть на фабрику со стороны и невооруженным взглядом, то она производит впечатление одного из тех бесформенных морских чудовищ, которые пекутся, как пирожки, жаждущими мира державами. Какое-то серое, распластавшееся по горизонту нагромождение переходящих один в другого прямоугольников, кубов и полуцилиндров, местами окутанное клубами дыма и пара, оплетенное антеннами и как бы всем своим видом скандирующее единственное грозное слово: «Ж-железобетон!..»

Человек, строивший Потылихинскую кинофабрику, был если не архитектурным, то, во всяком случае, архитектурно-трюковым гением. Говорят, что гении все немножко свихнувшись.

На Потылихе нет этажей. Вы никогда не знаете — нужно ли вам для того, чтобы попасть из комнаты № 149 в комнату № 556, подняться на несколько ступенек или спуститься на несколько

саженей. Если вы не принимали непосредственного участия в постройке фабрики или в вычерчивании ее чертежей, вы никогда не будете знать уровня, на котором находитесь по отношению к другим частям здания, и никогда не найдете дороги туда, куда вам нужно, даже если вы движимы наивластным из всех природных инстинктов; пройдя по узенькому коридорчику и нырнув в маленькую невзрачную дверку, вы вдруг оказываетесь в цепелинном эллинге, купол которого теряется в сумрачном сплетении осветительной подвесной и декорационной арматуры. Здесь ад вольтовых дуг и гудящих «юпитеров», джунгли проводов и лесов декораций, здесь языческий свист техперсонала прожигает охрипший, надрывной бас режиссерских рупоров, здесь гогочут орды аляповато загримированных статистов и, как души в загробном мире, слоняются смертельно бледные «проминенты» с тем, чтобы на минуту ожить перед неумолимо-черным глазом общего божества — киноаппарата и потом разбитыми уйти в свою уборную до следующей съемки. Этот элинг — тот мартен, который переплавляет в общую бесформенную массу человеческую фантазию, человеческие пот и честолубие, волю и проклятия, жадность и страх и в котором такие летучие тела, как честность или сочувствие, привязанность или жалость, взрывоопасно испаряются, унося иногда с собой и жизни тех, кто их сюда принес. Сатана тут правит бал. Это — ателье кинофабрики.

### Так называемые пути сообщения

Я не знаю точной статистики, но смею думать, что на Потылихе ежедневно работало, бегало по делам и просто околачивалось не менее двух тысяч человек. Когда я приезжал на Потылиху, мне всегда казалось, что здесь где-нибудь в каком-нибудь внутреннем храме хранится какая-то чудотворная святыня и мой приезд случайно совпал с праздником, на который стекаются паломники из половины христианского мира.

Но чего я никогда не мог постигнуть, это были те пути, по которым вся эта масса святых пилигримов сюда попадала. Потылиха была отделена от остального цивилизованного мира Москва-рекой с единственным в этом месте железнодо-

рожным мостом, по которому пешее хождение не рекомендовалось властями предержажшими. Со стороны Воробьевых гор сюда вела одинокая и пустынная дорога, оживлявшаяся только редкими и шумными появлениями автобуса номер девять, отходившего с Тверского бульвара по строго конспиративному расписанию и не всегда, за качеством советской продукции, до Потылихи доходившего. Кроме этого, бензинно-конного средства сообщения, в периоды открытой навигации связь Потылихи с центрами населения поддерживалась еще, так сказать, морским путем: по Москве-реке с медленной неуклонностью черепашьего аллюра вверх и вниз ползал так называемый «речной трамвай». Это редкостное завоевание человеческого гения имело такой успех среди населения, что молва стала связывать с ним мрачные легенды о русалках, утопленниках и летучих голландцах. Его называли «Ладьей Харона», говорили, что вдохновение к своей балладе «В синем и далеком океане» Вертинский нашел именно в этом московском речном трамвае:

*Плавают в сиреновом тумане  
старые, седые корабли...*

Или:

*Утром их слепые караваны  
Тихо опускаются на дно...*

Si non è vero... Я, во всяком случае, не знаю лучшего поэтического описания этого вида транспорта, не имеющего прецедентов в истории мирового судоходства...

Ибо нужно принять во внимание, что, кроме кинофабричного гарнизона, Потылиха обладала еще и штатским населением, каждой душе которого предоставлялось удовлетворять свои человеческие потребности в Москве.

В связи с этим утренние экземпляры речного трамвая редко доходили до Москвы, а вечерние — до Потылихи. Они либо предпочитали обслуживать более краткие и более перенаселенные отрезки своего маршрута, либо выходили из строя, либо, «вследствие чрезмерного скопления пассажиров на бакборте», выворачивались вместе со всем своим содержимым в хладные струи Москвы-реки...

\* \* \*

Телеграмму Роома я получил около восьми вечера. Крестный путь до Тверского бульвара занял у меня часа полтора-два. Автобус номер девять не имел строго определенного места стоянки: было только известно, что он приходит на Тверской бульвар, куда-то в окрестности памятника Пушкину, где его и подстерегали пассажиры, раскиданные цепью, как бушмены при охоте на слона. Моросил косой дождь, капли которого, попадая на очки, придавали калейдоскопические очертания тусклым московским фонарям и заволакивали автобусные перспективы пеленой непроглядного тумана. Но на душе у меня была та решимость отчаяния, которая, должно быть, охватывает человека, когда он, осеня себя крестным знаменем, сигает в седые валы океана с мачты уже погрузившегося в воду судна.

Я не знаю, сколько времени провел в ожидании. Не возлагая излишних надежд на свой охотничий опыт, я не рассчитывал самостоятельно различить, при данных атмосферных условиях, силуэт приближающегося автобуса и больше наблюдал за действиями других моих конкурентов-загонщиков. Несколько раз ложная тревога срывала кого-нибудь из них с места, и тогда другие, ревнивым оком охранявшие каждое его движение, бросались вслед за ним, попадая на пути под каскады брызг, взрывающиеся под колесами автомобилей, или опрокидывая в грязь божьих старушек, буде таковые попадались под ноги.

В конце концов, часов около одиннадцати вечера, после краткой, но отчаянной схватки у поручней подошедшего все-таки автобуса, я был втиснут человеческим потоком в узкое пространство между чьей-то спиной и снопом из трех киноаппаратов со штативами. Заполняя собой все свободные от человеческих тел промежутки, в воздухе нависал густой мат вперемежку с мажорным дымом и бензиновой вонью.

Когда автобус подвергался особо тяжким превратностям мостовой и содержимое его, как коктейль в шейкере, переваливалось от одной стенки к другой, из-за связки аппаратов доносился душераздирающий вопль о спасении. Случайно заглянув в узкую щель между ножками одного из штативов, я увидел в ней странно знакомые очертания чьего-то носа и подбородка. На одной из особо свирепых колдобин, когда аппараты

качнуло влево, а меня вправо — занавес поднялся и ситуация прояснилась.

— Мачерет-ет!.. — вскричал я с той радостной интонацией, которая звучит в голосах немецких старых дев при обращении их к своим бесценным четвероногим спутникам жизни: Aber Pupsi!..

Ибо это был Мачерет, мой старый знакомый (для кого он, впрочем, не был старым знакомым), бывший заведующий «Красной звездой» — клубом советской колонии в Берлине.

С Мачеретом нас связывало то странное чувство взаимного тяготения, которое, должно быть, связывает магометанских хаджей, побывавших в Мекке: оба мы, несмотря на разницу в возрасте, лет этак в двадцать пять, чувствовали какую-то товарищескую спайку, ибо принадлежали к клану бывших членов советской колонии в Берлине. Мы приехали в Берлин почти одновременно и так же одновременно были отсюда изъяты. Моя мать служила тогда в самом торгпредстве, а Мачерет состоял на хлопотливой и неблагодарной должности заведующего советским клубом на Дессауерштрассе. Клуб назывался «Красной звездой» и в славные мачеретовские времена умудрялся как-то оградиться от той специфической сухотки спинного мозга, которой хронически страдают прочие советские клубы.

Во времена Мачерета в «Красной звезде» можно было поиграть в шахматы или постучать в пинг-понг, минуя обычные в таких случаях обрядности — «пяти минут политграмоты», можно было стрелкнуть в читальне какой-нибудь буржуазный романчик, не вваливая на свои плечи «принудительного ассортимента» из пяти томов Марксо-Ленино-Сталинской жвачки. Даже в тех случаях, когда на вечер назначался какой-нибудь спектакль, не обязательно было являться на предшествующее ему собрание. Двери в зал оставались открытыми, так что собрание можно было переждать где-нибудь внизу, в буфете или в спортивном зале.

Не знаю, что стало с клубом после ухода Мачерета. Но думаю, что о его демократическом образе правления с благодарностью и сожалением вспоминаю не я один.

Мачерет принадлежал к той одесской разновидности homo sapiens'a, которая сама живет, дает жить другим, никаких законов и предписа-

ний всерьез не принимает и вообще считает, что жизнь дана человеку для извлечения из нее максимума собственного удовольствия. Для выступлений своих синемблужников\* он сочинял и komponировал несложные, но веселые и задорные песенки и с ними, говоря словами советского шлягера, «шагал по жизни». Для оживления клубного Betrieb'a он устраивал всякие, самые разнообразные, кружки и дошел до такой смелости, что приглашал в них немецких преподавателей, лекторов и инструкторов. Кружки эти, вопреки советской традиции, охотно посещались торгпредской публикой и даже нередко приносили посещавшим практическую пользу: в одном из таких кружков я, например, сравнительно неплохо выучился писать на машинке и даже собирался изучать стенографию. За неосведомленностью я умолчу о тех сливках, которые слизывались Мачеретом с ассигнованных на содержание клуба сумм: не мне вести счет советским денежкам. Но должен все же сказать, что недолизанный остаток он использовал толково и без стремления нажить себе на нем карьерный капиталец. А для советских нравов — и за это спасибо!

Факт встречи мною Мачерета со связкой киноаппаратов в руках не поверг меня в изумление: будь у него в руках китобойный гарпун или скипетр готтентотского царька, я бы также, не сморгнув глазом, приветствовал в его лице минувшие золотые денечки, которым он был свидетелем. Ибо, поскольку я знал Мачерета, не было в мире такой профессии, за которую у него не хватило бы совести взяться, с тем, чтобы выколачивать из нее средства к поддержанию своего брэнного существования. Остапа Бендера\*\* я знавал издавна, только мы его тогда почему-то называли Мачеретом.

— Солоневичонок! — раздался ответный клич в том же тоне, что и мой приветственный возглас.

*Не говори мне,  
какие ветры  
сюда пригнали  
твой рваный парус!..* — стал он тут же цитировать свое собственное произведение. — Если я

\* Передвижные вокально-акробатические группы, составившиеся из любителей — рабочих и служащих.

\*\* Герой известной книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

еду на Потылиху, то почему на ту же Потылиху не могут ехать и другие люди?! Впрочем, неужели я сам себя не ошибаю и вы... как вас теперь... для тыкания вы как будто переросли предельный возраст? Так неужели и вы теперь... — он ухватился за свои аппараты как раз в тот момент, когда они проявили намерение выскочить в разбитое окно автобуса, — неужели забрела экранная лихорадка?! Вы что теперь: советский Эмиль Яннингс или так себе?..

— Так себе... — ответил я. — У Роома помрежем. А вы?

— У Роома... — протянул Мачерет. — М-м-да... Это действительно — так себе... Я? Я ничего... Я так — кручу, верчу, накручиваю! Вот скоро фильмчик будем крутить. Но как же вы? Вы ведь, насколько я понимаю, — ни бельмеса. Впрочем, если я ни бельмеса, то почему бы вам понимать не ни бельмеса?

— Оператором? — перебил я.

— Какой — оператором! — отмахнулся Мачерет с таким видом, будто я его принял за американского президента. — Режиссером! Вы знаете, что такое режиссер? Режиссер — это собака в кегельбане! Режиссер — это хуже, чем собака; собака с Бассом дела не имеет. А вы знаете, кто такой Басс? Басс — это человек, которого волки загнали на дерево. А я к нему за ордерами бегаю: так он мне оттедова по-гишпански. Вы знаете, что такое по-гишпански? Впрочем, вы еще молодой человек, неоткуда вам знать такие вещи...

— Разрешите мне принести вам мои соболезнования! — ответил я. — А вы знаете, кто такой Роом?

— Зна...

— Не знаете! Если бы вы знали — вы бы сейчас рыдали надо мной, как мать над погибшим сыном! Вот он меня сейчас гонит в полночь на Потылиху, так, вы думаете, к тому времени, когда я туда попаду, — я его еще там застану? Чёрта-с! Эта зануда гоняет меня взад-назад, как лошадь в манеже!.. Интересно, как вы обращаетесь с вашими помощниками, буде таковые у вас имеются?

— Ох, имеются!.. — вздохнул Мачерет. — Только обращаюсь с ними не я, а они со мной обращаются...

Через некоторое, довольно продолжительное время, пока задумавшийся автобус завернул в подорожную деревеньку — набирать бензину, и

пока шофер выяснял в ночной темноте свои отношения с каким-то мимохожим мильтоном, картина настоящей и будущей деятельности Мачерета выяснилась для меня, как контрастный негатив при проявлении. Выяснилось, что он получил для постановки боевой полнометражный фильм «Дела и люди» из рабоче-спецовской жизни, но, не страдая болезненным оптимизмом, сохранял за собой на всякий случай свою старую работу по классификации почтовых марок в филателистическом музее при Наркомпочтеле. Тот факт, что ко времени начала непосредственной съемки (а начаться она должна была со дня на день) ему, по-видимому, придется оставить свои марки, приводил его в удрученное состояние.

— Видите ли, — говорил он, морщась от дыма сидевшей где-то в усах папироски, — марки — штука хорошая. Почти, можно сказать, идеальная штука: наклеишь три марки в день, а с четвертой обратишься к компетенции зава музеем. Завмузеем сам в марках — ни бельмеса, даже латинского шрифта не знает, вот он и пошлет вас в публичную библиотеку или к кому-нибудь из московских крупных знатоков. А знатоки сами марки собирают, так что я для них — полезнейшая личность! Кто там проверит — были ли выброшенные в корзину марки дублями в коллекции и стоили ли они вообще чего-нибудь?.. А один знаток, Мерягин тут такой есть, в Моссельпроме работает контролером, — так он мне такие ордерочки на всякие там костюмчики и прочее достает, что я, знаете ли, совсем-таки бешеным филатelistом стал! Да-а... — добавил он в таком тоне, в каком сентиментальные люди говорят об усопшем друге. — Жаль мне марочек!..

Он снял предохранительный колпачок с объектива одного из аппаратов и заглянул в его черную глубину, как персидский гадатель в хрустальный шар, как бы пытаясь увидеть там отображение своего будущего.

— А это, — он заботливо отер рукавом забрызганную грязью никелированную ручку аппарата, — это... Нет, люблю я искусство, Солоневич, люблю искусство! Ведь что мои синеглазники — что, плохая была команда? Не дай бог Мейерхольду такую команду сколотить, он, как жаба на болоте, зазнается! А с вами мы еще что-нибудь выдумаем! — неожиданно закончил он в

ответ на мои стенания и жалобы на горькую свою судьбу. — Вот начнем фильмчик крутить — как пить дать, выдумаем!

\* \* \*

Ночью фабрика представляла собой если не феерическое, то, по советским масштабам, во всяком случае занимательное зрелище. Незаметные днем стеклянные крыши ателье, каким-то невиданным самоцветом в оправе из мелких бриллиантов лучились голубым, розовым, желтым, зеленым светом, вырезая из темноты клубы фабричного дыма и поргивая низкие облака мигающим заревом. Проседь дождя над крышами казалась искорками над бокалом шампанского, а внизу черно-лиловые силуэты деревьев металась по ветру, как жрицы в экстазе священного танца...

Впрочем, это лирика. В резко освещенной и до ста атмосфер накуренной комнате, где-то между какими-то этажами, я после часовых поисков, к немалому своему удивлению, все же обнаружил Роома в кругу каких-то неведомых мне, смертному, богов и полубогов советской киноиндустрии. Здесь, с неподражаемой комфортабельностью разместив в кожаном кресле свои телеса, глодал свои пухлые пальцы сам Басс. Тут же пристроился на краешке стола Киришон — идеологический воротила советской кинопромышленности, и, угрожающе сверкая лысынями, блокировались в бездонном диване братья Васильевы с Авербахом из ГУКа (Главного управления кинопромышленностью). Несколько менее крупнокалиберных типов стояли, сидели и перемещались по диагоналям.

Судя по накуренности пейзажа и стоном стоявшему в коридоре гвалту, я определил, что разговор здесь шел по меньшей мере «всерьез».

Открыв дверь, на секунду задержался, отчасти испуганный деловой обстановкой этого высокого собрания, отчасти, чтобы убедиться в присутствии здесь моего покровителя. Покровитель не замедлил дать о себе знать.

— Пшшш!!! — зашипел он на меня, как будто я своим бестелесным появлением мог хоть на йоту заглушить иерихонские вопли присутствующих. В позе римского боевого орла он вцепился руками в сиденье слишком для него высоко-

го стула и, поджав под сиденье ноги, с ошумелым видом вертел во все стороны головой. По-видимому, я был единственным из всей компании, на кого он чувствовал себя вправе более или менее безвозмездно пошипеть, что, очевидно, сильно облегчило его душевное состояние. Он потряс в моем направлении рукой в знак того, что момент публичного растерзания меня в клочки он, за неимением в данную минуту времени, откладывает на потом и чтобы я пока расплылся в воздухе или сморщился до минимальных размеров, дабы не смущать своим плебейским видом высокого собрания.

Устроившись в уголке на каком-то ящике с иностранными клеймами и приняв защитную окраску, я стал вслушиваться в происходящее, как заядлые радиолюбители вслушиваются в пять разом галдящих станций.

— Пятьсот шестьдесят тысяч, иначе мы зарежем весь производственный план! — орал, фыркавая, Киришон. — Кого тогда ГПУ сажать будет?! Если ГПУ хочет Горького — нате вам Горького, только пусть дают ассигнации, или мы будем пересматривать план!

— Чего там пересматривать, когда план уже утвержден ГУКом и половина денег уже распределена! — вторили ему хором братья Васильевы. — Если мы заплатим миллион — так это значит закрывать лавочку и распускать все постановки на лето и осень!

Зажатый между братскими силами, Авербах беспомощно ворочал растопыренными ладонями:

— Если того требует генеральная линия нашей партии, — стрекотал он фальцетом, — ГУК может пересмотреть что угодно! Если мы получим соответствующее предписание...

— Да и пятьсот шестьдесят тысяч — это значит зарезать восемь мелких постановок, — колыхался чей-то незнакомый бас. — Ведь дело не в рублях, а в метрах плёнки, в аппаратуре, в инвентаре! Ведь вы не будете крутить Горького на советской пленке. А заграничную вы что — рожать, что ли, будете?

— Пускай ГПУ возьмёт у «Совкино» или у «Ленгоскино», или у крымских лодырей, пускай оно возьмёт у них на собственные нужды пятьдесят тысяч метров! Тогда хватит!

— Чёрта с два у Роома хватит! — вмешался какой-то человечек, по интонации которого я за-

подозрил в нем пресловутого Балду-Бановского. — У него отбросы продукции девяносто процентов. Он вам на тысячу метров десять тысяч в макулатуру сдаст! Копировать-то на чем будете?

Тут уже взвился пребывавший все это время в относительном молчании Роом. В течение всего этого времени он судорожно извивался на своем шестке, ежесекундно порываясь вскочить и время от времени издавая какие-то глухие гортанные звуки. Диверсия Балды-Бановского произвела короткое замыкание, и он вылетел на арену, как мексиканский бычок после соответствующей подготовки красными тряпками.

Захлебываясь, визжа и обдавая присутствующих слюной, как в странах капиталистического гнета пожарный автомобиль — рабочих-демонстрантов, он стал изрыгать полубеспредметную хулу на голову своего соперника. Я почувствовал, что равновесие роомовской души было нарушено еще задолго до моего появления, а замечание относительно процентной нормы брака в его творчестве было лишь последней шпагой, вонзившейся в его плешивую мексиканскую шею. Хула, за полной своей невнятистью, не содержала каких-либо конкретных обвинений, но она явилась тем кризисом в общем, все нараставшем и углублявшемся гвалте, после которого разговор втекает в зеркальные воды озера Молчания.

— Мм... Хорошо!.. — произнес Басс, перестав питаться собственными пальцами, когда Роом, обессилев, опустился обратно на свой насест. — А не считают ли товарищи, что было бы целесообразно выслушать мнение по всему этому вопросу самого товарища Лодыженского? Мне кажется, что мы тогда скорее придем к какому-нибудь конкретному решению!

Все головы, подобно головам зрителей на теннисном матче, обратились в противоположный угол комнаты, где я впервые за все время моего присутствия обнаружил низенького, но плотного человека в гороховой форме с двумя ромбами на красных уголках его кардинальски-скромного френча.

— Товарищ Лодыженский, вы как считаете? Вы, по всей вероятности, располагаете какими-нибудь более или менее определенными инструкциями?

Секунд пять царило молчание, во время которого Лодыженский, скривив бровь, оглядывал

присутствующих, как бы убеждаясь в том, что меркантильные разговорчики закончены и что время для произнесения высочайшего вердикта наконец наступило. Секунд пять молчания — которые были даны присутствующим, чтобы оценить всю суетность и мелочность их собственных желаний и чаяний.

Потом Лодыженский встал и, подойдя к письменному столу, мучительно долго тушил папироску в осколке гранаты.

— В-видите ли, товарищи, — начал он, морщась от предсмертного дыма папиросы. — Должен прежде всего несколько выправить общие положения нашего сегодняшнего разговора... — он, щурясь, посмотрел на двухсотсвечную лампу, висящую с потолка, как бы концентрируя в ней свои мысли.

— Должен прежде всего заметить, что все вы, товарищи, и тов. Басс в том числе, сильно недооцениваете политическое значение сценария № 63 Алексея Максимовича Горького. Из слов некоторых высказывавшихся товарищей я вынес заключение, что вы совершенно правильно видите в этом сценарии новый шедевр нашего кинодраматического искусства, новое творение нашего великого пролетарского писателя, Алексея Максимовича, которое должно, конечно, подвергнуться обработке всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Я полагал, однако, что, ознакомившись с содержанием сценария, вы должны были бы оценить также и всю важность трактуемого социального заказа, для которого финансовые затруднения не представляют собой столь крупной преграды...

— П-простите, товарищ Лодыженский, — перебил его Басс, поддерживаемый сдержанным ропотом заседающих масс. — Нам... Мы очень не хотели обращаться к вам по именно этому вопросу, но мы еще до сих пор не получили даже конспекта будущего сценария, так что... откровенно говоря...

— Не получили?! — опешил Лодыженский. — Значит, вы даже еще не знаете содержания сценария?!

— Понятия не имеем! — ответило хором почти все собрание.

— Это кто не имеет понятия? — вмешался Роом. — Я имею! Я знаю, что сценарий будет из детской жизни. Это будет большой детский фильм о том,

как растет наша молодая смена. Конечно, это имеет огромное политическое значение! Я не понимаю, как это...

— Из чего? Из детской жизни? — раздраженно переспросил Лодыженский. — Ну да, если хотите, это можно назвать детской жизнью. Сценарий будет говорить о перековке воров и беспризорников в честных советских граждан. Это будет вторая «Путевка в жизнь», только больше, колоритней и вообще значительно лучше «Путевки»! Этот фильм должен будет показать, как ГПУ заботится о своем наследии от проклятого царского режима, как оно перевоспитывает свихнувшихся людей, делая из них...

Лодыженский зарядил... В те времена я еще не успел на собственном эпидермисе почувствовать и оценить отеческой ласки и заботы этого трогательного учреждения, но чтобы человек так нагло врал прямо в лицо десятку других советских пройдох — это я переживал в первый раз в моей жизни и, признаться, немного обалдел.

Посыпались вопросы, возгласы восторга, внушенного раскрытой перед слушателями панорамой Болшевской коммуны райского филиала на земле, предназначенной для так называемого «социально близкого элемента». У Роома от неожиданного счастья в зобу дыханье сперло, и первое время он только сидел и торжествующе-бессмысленно ухмылялся. Потом и он стал галдеть, соперничая с другими.

Однако, когда возбуждение улеглось и перед высоким собранием с достаточной степенью ясности выявилась заинтересованность во всей этой афере самого ГПУ, Лодыженский наморщил брови и заявил, что ГПУ предлагает «Союзкино» выделить из своих фондов для постановки сценария № 63 миллион рублей. Остальные расходы, в случае если они превысят эту сумму, ГПУ берет на себя.

Это мне немного напомнило строфу из Сельвинского:

*Теперича наш анархицкий сход,  
который есть в боях закаленный,  
вынес: просить от вас миллиона,  
а то — очень масса пойдет в расход!*

На этот раз миллион не вызвал никаких возражений или протестов, Киршон даже весело хлопнул в ладоши и заявил, что для такой чести,

как постановка сценария Горького, «Союзкино» не покусится резать несколько там пустяковых фильмишек. Поднялся было вопрос о том, каким именно фильмишкам предстояло быть резанными, но Басс поднял свою отрезвляющую десницу, заявив, что этот вопрос может быть решен только на особом заседании с участием фин-, хоз- и планового отделов.

Дождавшись этого момента, Роом, вертевшийся на своем стуле со все нараставшей нервозностью чёрта перед заутреней, вскочил и, произведя несколько обходных маневров, никем не замеченный скользнул за дверь. По-видимому, эта его акция была зарегистрирована только мной и товарищем Лодыженским. У товарища Лодыженского не было ни стальных глаз, ни квадратной челюсти, но по узкому его крысьему лицу чувствовалось как-то, что, икни кто-нибудь из присутствующих или упади у кого-нибудь волос с головы, он бы и это заметил, сделав соответствующую отметку в своем кондуите. Собирая со стола бумаги в небольшой сафьяновый портфельчик, он о чем-то спросил подошедшего к нему Басса. При этом он указал глазами на пустой роомовский стул, а выражение лица у него было удивленно-вопросительное. Стоя спиной ко мне, Басс пожал плечами и повертел в воздухе рукой, как бы ссылаясь на Всевышнего. Потом он наклонился к уху Лодыженского и, судя по движению его губ, губ пожилого и видавшего виды херувимчика, стал ему что-то быстро-быстро бормотать. По игре бегающих бассовских глазок чувствовалось, что предметом разговора является личность Абрама Матвеевича. На лице Басса было написано то трагическое недоумение, которое бывает на лице содержателя захолустной мексиканской таверны, когда придиричивый гость проклинает его за качество поданной ему малаги.

Чувствовалось, что Роом не произвел на Лодыженского чарующего впечатления.

Наступило нечто вроде небольшого перерыва. Нечто вроде перерыва, когда депутаты разбредаются парочками по кулуарам, чтобы обсудить мировые вопросы в частном порядке.

Лодыженский, в почтительном сопровождении Басса, застегнул на все крючки свою кавалерийскую шинель и вышел. Басс скоро вернулся и был сразу оккупирован Киршоном. Братья Васильевы «взяли в серединку» какого-

то неизвестного мне типа с глазами профессионального растратчика и, ухватив его каждый за одну пуговицу его рыжей кожанки, стали ему с обеих сторон что-то яростно нашептывать. Впоследствии я узнал, что этот тип был помзавом финотдела. Помзав лукаво косил глазами то в одну, то в другую сторону, потом поднес руку к подбородку и с оттяжкой шелкнул себя по адамову яблоку. При этом он указал большим пальцем куда-то в пространство, следуя по каковому направлению человек с обостренным чувством стереометрии набрел бы на фабричный буфет. Имея блат у зава буфетом, там с десяти часов вечера, т. е. с того времени, когда разбрехался по домам завистливый фабричный плебс, можно было «раздавить мерзавчика» и закусить фаршированными баклажанами в соусе из серной кислоты. Братья Васильевы не заставили себя уговаривать.

Я сидел на своем ящике, чувствуя себя Одиссеем среди циклопов. Что будет, если кто-нибудь из них, случайно повернувшись, наступит на мою тшедушную фигурку?.. Это было причиной того безотчетного страха, который овладел мною, когда с мыслящим видом сидевший Балабановский внезапно заинтересовался моей персоной.

Подойдя ко мне на расстояние, с которого знатоки рассматривают картины в музеях, он расставил ноги и, скривив набок голову, оглядел меня, как петух — жемчужное зерно. Я подавил в себе рефлекторное желание смыться и, сконфузившись, как дева, ответил ему долгим, томным взглядом из-под полуопущенных ресниц.

— А вы, собственно, кем являетесь, молодой человек? — проскрипел он тоном запасного генерала, собирающегося распечь юного корнета за неотдание ему чести на улице.

— Я?.. М-м-м... Я, так сказать... нечто вроде помощника у режиссера Роома, — с робкой неприужденностью ответил я.

— Что значит «так сказать, нечто вроде»?! — взмылился он. — Или вы помощник, или вы не помощник! «Так сказать, нечто вроде» не бывает!

Он повернулся ко мне спиной, но потом, отойдя шага на два, снова, прищурившись, глянул на меня, как бы взвешивая — стоит ли потратить на меня еще несколько своих драгоценных слов.

— Это про вас мне говорила тов. Владимирская, что вы собираетесь поступить в ГИК?

— Должно быть, про меня, — ответил я.

Лицо Балабановского расплылось в кривенькую улыбочку.

— Г-м... Так, значит, мой, так сказать, будущий ученик?

Большим минусом в моем характере является способность попадать, в погоне за красным словом, в самые отчаянные комбинации...

— «Так сказать учеников» не бывает, товарищ Балабановский! — ответил я, лишь под конец фразы соображая, что я, собственно, делаю. Ибо если Балабановский был профессором в ГИКе... Циклопий недоросток сразу вырос в моих глазах до величины нормального, хорошо развитого циклопа.

К моему удивлению, однако, циклоп в ответ на мою наглость не проявил желаний растереть меня пяткой в порошок. Наоборот.

— Хе-хе! — ответил он, мило ослабившись. — Да, но вы пока что не более как только «так сказать» ученик, насколько я понимаю! Э?

— А, да! В этом отношении, конечно! Вы там разве преподаете, в ГИКе? — глупо улыбаясь, не нашел я сказать ничего лучшего.

— Да-а... Можно сказать, преподаю! — с игривой гордостью ответил Балабановский. — Вы на какой курс метите?

— Думал на режиссерский или на сценаристский.

— Тэк-тэк... — он посмотрел на меня с тем соболезующим любопытством, с каким смотрит человек на муравья, пытающегося выбраться из банки с чернилами. Мне на секунду даже показалось, что он что-то обдумывает. — Ну, когда будете подавать — загляните ко мне! Может, я вам еще пригожусь! — и Балабановский, отвернувшись, оставил меня вариться в собственном недоумении.

Роом вернулся, когда публика уже расходилась. В руке он держал пачку развевавшихся по ветру заполненных печатных бланков, на верхнем из которых я успел прочесть слово «Наряд». Вид у Роома был рыскающий, как у шакала на поле брани.

Узрев Басса, запиравшего в этот момент ящики своего стола, он подлетел к нему, как галантный хлыщ подлетает по паркету к даме; и с ловкостью привычного секретаря расположил свои бумажки перед ним на столе.

— Вот, Исаак Евгеньевич, будьте такой любез-

ный, у меня уже все выписано — вам только подмахнуть! У меня уже, собственно, неделю тому назад все было готово, но вы знаете, я никогда не люблю начинать с официальностей! Я всегда сделаю сначала дело, а потом только, когда уже без этого не обойдешься...

— «Пять восходов»... Ателье, гардеробная, токоснабжение... — недоуменно прочел Басс, перелистывая наряды. — «Тихий Дон»... Ателье, гардеробная... — он взглянул он Роома. На лице его было написано замешательство младенца, у которого вырвали соску изо рта. — Но вы ж не собираетесь уже начинать?

— Э-э, да я уж давным-давно начал! — хвастливо хихикнув, отвечал Роом. — Чего ж я буду канителить?! Разве ж в наше время можно канителить? В наше время нужны дела, а не слова, как совершенно правильно сказал товарищ Сталин! И потом, вы же, Исаак Евгеньевич, сами говорили, что с этим делом нужно как можно скорее!..

— Да, да... Так-то оно так! — замялся Басс. — Только вот... в связи с сегодняшним решением... Может быть, нам придется... И потом, ведь вы уже берете на себя три фильма, Абрам Матвеевич! Зачем вам так много? Ведь вы же не справитесь! Ведь если вы...

— Ну нет, в этом-то отношении я готов за Абрам Матвеевича поручиться! — внезапно раздался скрипучий голос Балабановского. — Справиться-то он с чем угодно справится! — Он прошел мимо меня, направляясь к Бассу, и по дороге мне бросилось в глаза странное выражение его лица. Он как бы увидел на лбу у Басса страшное чумное пятнышко, и глаза его остекленели от ужаса. Тон его речи был в то же время весело-непринужденный, как бывает у человека, только что хорошо отобедавшего.

— Если я говорю, что творчество Абрама Матвеевича сопряжено с огромными расходами, то я зато совершенно признаю за ним его поистине большевицкую энергию и способность наладить любые темпы производства! Нет, я даже считаю, что это даже лучше будет, если ко времени выхода сценария Горького Абрам Матвеевич приобретет уже, так сказать, некоторую известность на более мелких произведениях!

Балабановский в упор смотрел на Басса, Басс — на Балабановского, а голова Роома вертелась от одного к другому, как у кота, на которого напали два пса сразу. В глазах Басса было выражение,

какое бывает у матроса, следящего за семафорами флагманского судна. Выражение глаз Роома менялось в зависимости от того, на кого из них обоих он их в данный момент направлял.

— М-ммэ... — Басс медленно опустил глаза вниз на разостланные перед ним наряды.

— Абрам Матвеевич, — произнес он наконец. — Я вам подпишу эти наряды. Но имейте в виду, что производство трех фильмов одновременно, да еще если среди них есть такой, каким будет горьковский, я считаю для одного человека совершенно непосильным! Поэтому предлагаю вам закончить хотя бы один из этих двух еще до начала работы над сценарием № 63, иначе нам придется пересмотреть вопрос о его режиссуре!.. — Басс нагнулся и жестом хорошо выверенного автомата подписал все восемь или десять нарядов.

Роом стоял, приобретая постепенно окраску суринамской сухопутной жабы...

### Меня берут в работу

В эту ночь мне не довелось вернуться к родным пенатам. Я вернулся домой лишь к трем часам следующего дня, в состоянии, близком к измочаленности. Работа марсового на гибнущем бриге в тайфуне Желтого моря была санаторным отдыхом в сравнении с этой ночью. Разбушевавшийся Роом играл мной, как шепкой, швыряя меня то вниз, то вверх по фабричным лестницам и коридорам, и сам с пеной у рта, напоминавшей седые валы океана, смерчем носился из отдела в отдел, от завка к заву, назначая мне встречи на площадках лестниц для отдачи дальнейших директив.

Иногда мы встречались с ним где-нибудь на лестнице или в коридоре. Он, вихрясь зулусским шаманом, сшибая с ног гражданское население кинофабрики, летел куда-нибудь в отдел кадров, а я — спасающей свою маленькую, но субъективно драгоценную жизнь, ящерицей скользил между прохожими и вертящимися дверьми куда-нибудь в шрифтовой отдел, за нарядом на заголовки.

— Комната 132, Гуйзерман, фотографии Григорково-ой! — истошно вопил Роом, удаляясь в винтовую нарезку полуосвещенного коридора, и я уже знал, что к общей каше пятнадцати других

заданий мне еще прибавилась обязанность раскопать актерский альбом с фотографиями какой-то Григорковой, которая по художественному замыслу Роома подходила к роли колхозницы Маяны из «Пяти восходов». Впрочем, граница между художественными замыслами и бывшими брачными отношениями не была у Роома точно маркирована. Жен у него было столько, сколько женских ролей было в фильмах, скрученных им за его долгую режиссерскую деятельность. Соединяя полезное с приятным, он приносил свое жаркое сердце в жертву режиссерской кассе и в подарок какой-нибудь хорошенькой, преуспевающей, но еще мало известной артистичке. Не у всякой жены подымется рука требовать гонорар с собственного мужа, и Роом тщательно калькулировал возможные расходы на алименты с остающейся таким образом чистой прибылью.

В отделах в три часа ночи атмосфера была, что называется, «разреженная». Был секретарь, но не было зава, или был зав, но не было машинистки, чтобы выписать наряд. Тогда мне приходилось бежать в соседний отдел и тренировать на его машинистке свои донжуанские таланты в целях заполнения у нее машинки на десять минут, пока я сам выпишу наряд. Машинистка, по основному принципу своей профессии, своего орудия производства никому не доверяла, так что, останься я на должности помрежа еще с полгода, я бы выработал в себе такое знание женских сердец, какое не снилось самому Казанове...

Запыхавшись от восьми лестниц вверх, трех вниз и полукилометра кросс-коунтри по коридорам, влетаю в макетную мастерскую заказывать макеты для первого акта «Пяти восходов». О самой макетной мастерской, о порядке произведения заказа, о реально возможных (не эфемерно роомовских) сроках его выполнения, да и, наконец, о самом макете я имею столь же смутное представление, как, допустим, о церемонии посвящения далай-ламы. Но полчаса тому назад, ткнувшись головой в живот Роому на перебежке из транспортного отдела в кадровый, я получил прослоенное неслышанным бердичевским матом распоряжение «заказать у Рибкина, так его и так, этот, такой-то и такой-то, макет, с домиками, с полем, с железной дорогой, и чтобы был дым от бомбардировки, и чтобы я, так меня и так, не перезабыл половины из сказанного, и чтобы эти сволочи сделали макет к «послезавтра утром»,

потому что послезавтра вечером нужно будет показать Бассу первый кадр, а у Каложного, так его и так, болит живот, и чтобы я, когда кончу все дела, забрал фабричного врача скорой помощи и завез его, так его и так, к Оське, и чтобы Оська был «у меня» к завтра здоров, а макет пускай сделают восемь метров на два с половиной, и двести солдат чтобы двигали руками и ногами на макете, они там сами знают!..»

— Товарищ Рибкович тут?! — оглушаю я флегматичного слесаря, перепутав в длинной связке незнакомых имен имя товарища Рибкина.

— Какой еще там Рибкович? — лениво отзывается слесарь, в одиночестве ковыряющийся напильником в каком-то сверхурочном заказе.

— Ну не Рибкович, а как его там — ваш макетный зав, или кем он вам приходится?!

Слесарь явно оскорблен такой нечуткостью к имени его уважаемого патрона.

— Какой вам еще Рибкович! Нет тут никакого Рибковича! А если вам нужен товарищ заведующий, так вы так и говорите — мне, мол, нужен товарищ заведующий, товарищ Рибкин! Такой у нас действительно имеется, вон они даже сидят!

В финансово-контрольную кассу я должен, однако, во всяком случае забежать еще сегодня же, ибо кассир сдает дела какому-то Либерману, а Либермана Рибкин знает еще по работе в Нарците: сукин сын, каких мало, и на новом месте, конечно, зазнается и будет придирается ко всякой ерунде. Под конец Рибкин, человек самаритянского образа мышления, проникся все-таки сочувствием к моей беспомощной юности и дал мне практический наглядный урок прокладывания себе жизненного пути в кинофабричных дебрях. Рибкин был третьим калачом и старым советским служащим. Входы и выходы он знал даже там, где для постороннего глаза стояла глухая стена гранитной кладки.

— Эх, молодой человек, молодой человек! — говорил он мне после того, как мы уже кончили чисто деловую часть разговора. — И я тоже был когда-то в вашем положении. Только тогда был шестнадцатый год и люди были другие. Правда, я тогда был евреем — это была маленькая разница! Ну, а теперь я больше не еврей, или, скажем, хотя бы не жид... Ну, я не буду говорить, чтобы я за это на месте прыгал от радости — сейчас все жидами стали. Только тогда у меня дырки были, чтоб влезть, а где они ваши дырки? У вас дырки

такие, что вы с одного боку влезли, а с другого обратно вылезли. Или если вы не вылезли, так вас вылезут! Вы знаете, сколько у меня есть вот таких вот профессий? — он указал подбородком на недоделанный макет, над которым с медленной уверенностью механического робота копошился мастер Чуклемов. — Вот таких вот тоже дырок? Я знаете, из одной в другую, из одной в другую! Я не здесь, так я в утильсырье, я не в утильсырье, так я в Моссельпроме, не в Моссельпроме, так я у чёрта на рогах! А вы где? Можно вас спросить — где вы?

Я покачал головой: — Я у Роома...

— Дэ-э... — произнес он с таким видом, с каким Лермонтов печально глядел «на наше поколение»... — Дэ-с... Вы вот именно «у Роома»... Можно себе сказать — «положение!». Вы даже не в «Союзкино», а именно «у Роома». Меня если выкинут из макетной, так я еще попробую пристроиться в гараж, или в хозотдел, или в лабораторию. А вы? Вы, я вижу, можете идти начинать жизнь сначала! Я вам скажу, молодой человек: вы там на роомовский макет плюньте! Что вам роомовский макет? Что вам, роомовский макет дороже своего будущего? Вы оговорите — вы хотите в ГИК влезть. Так вы смотрите на ГИК, а не на Роома! Что вы, уже пристроились так, что если Роом вас выкинет, так вы куда-нибудь в другое место? А ведь он вас выкинет! Он же сука такая, что обязательно выкинет! А вы себе за его макеты ноги ломаете! Вы думаете, он вам спасибо скажет?

Я подумал о том «спасибо», которое мне Роом скажет, когда я приду к нему и заявлю, что макет будет готов не послезавтра, а только через восемь дней, и что за это ему, Роому, придется заплатить из групповой кассы двести пятьдесят рублей... В этот момент я совершенно ясно почувствовал толщину того волоска, на котором я висел над бортом кинофабрики. Оборвись он — и я полечу вниз, обратно в черную пучину домашней бесперспективности, в хождение по мукам новых вузов, техникумов и заводов, в безвылазность своего социального происхождения...

На секунду мне стало жутко, как бывало впоследствии жутко думать о «шлепке», о «вышке», о «поездке на луну»\*. Еще можно жить в дыре, завидуя порхающим в поднебесье пташкам, но вернуться в дыру обратно из поднебесья... Нет, надо что-то предпринимать!

Как говорят венцы: «g'scheh'n muass was!» Что-нибудь должно случиться!

\* \* \*

До двенадцати часов следующего дня я успел, с перемежающимся успехом, «провернуть» еще штук восемь, аналогичных макетному, роомовских заказов. Успел выслушать от Роома проклятия, которых бы хватило на содержание в преисподней всех моих предков и потомков, по крайней мере, на двенадцать колен в ту и в другую сторону. В конце концов, случилось то, чего я опасался, еще лежа на роомовском диване и вслушиваясь в тихие причитания весталки над примусами в передней: я покрыл Роома матом.

Не сильно и даже не особенно изысканно, но когда человек провел ночь без сна, производя эксперименты над собственной нервной системой в угоду другому человеку, и когда в результате этот другой еще пытается усомниться в добропорядочности и здравом уме его родителей, тогда у этого человека появляется определенная нотка в голосе, которая не оставляет места для двусмысленного понимания его слов.

Но не знаю: было ли это дипломатией со стороны Роома, нашептала ли ему это его жизненная мудрость или же он просто сам обалдел до состояния, когда человеку все становится все равно, но только того извержения, которого я ожидал, договаривая до конца последние слоги своего заклинания и которое должно было стереть меня с лица земли, — не последовало. Он только посмотрел на меня глазами, похожими на две измазанные горчицей сливы, похлопал ими, отвернулся, как если бы ему на глаза навернулись слезы, и произнес:

— Идите спать ко всем чертям! Завтра в семь будете у меня.

\* \* \*

Стояло яркое солнечное утро, когда я наконец, шатаясь, добирался до нашей салтыковской голубятни. Но в глазах была еще мгла бессонной

\* Синонимы расстрела на советском языке.

ночи, черным тюлем висевшая между мной и миром. Замершее на небе солнце казалось близким и огромным, но как будто остывшим, как солнце какого-то стомиллионного века. Оно, быть может, еще грело кого-то, но только не меня, и меня знобило в его дымчатых холодных лучах.

Предвидя близость момента блаженного растворения в простынях своей коротенькой и жесткой, но какой-то обжитой и уютной кровати, я начал засыпать еще на улице. В полусне ткнул плечом скрипучую калитку и потом, совсем уже посапывая, носком облипшей грязью калоши отдал три традиционных пинка нашей толстой, обитой войлоком двери.

— Ну, ты, блудный поросенок! — встретил меня батька, откидывая тяжелый, как в старинном замке, крюк, охранявший нашу частную территорию от непрошенных интервенций. Этот крюк внушал какое-то нелогичное спокойствие за свою судьбу. Казалось, что, пока он запирает дверь, ни одна шальная волна не хлестнет сюда из этого мира бурь и ураганов. В батькином голосе чуть чувствовалось беспокойство за судьбу своего запропавшего потомка, беспокойство, которое у нас в семье не было принято демонстрировать и прощалось только мамаше, из снисхождения к ее женским слабостям.

— Где это тебя носило? Ну, катись, катись наверх, там у тебя на кровати баран стоит!

На кровати действительно стоял баран, добытый какими-то неисповедимыми путями на Сухаревке, жаренный в печке по системе «а-ля Солоневич» и завернутый, для сохранения живительного тепла, в одеяло.

Баран этот был первой ласточкой наступившей в нашем доме передышки. За последние три-четыре недели ничего не варилось, не жарилось, не мылось и не подметалось — в нем стояла атмосфера работы сверхурочной и сверхударной стахановской бригады.

Три или четыре недели тому назад мамаша получила от профсоюзного издательства заказ на перевод последней книги Герберта Уэллса «Meanwhile» с английского на русский язык. Ввиду того, что «Профиздат» опасался возможной конкуренции со стороны прочих советских издательств, а такого изобретения, как договоры с иностранными авторами о монопольном праве на перевод, в СССР не существует (да и вообще

иностранное *copyright* в СССР не признается) — Профинтерн поставил невероятно жесткий срок выполнения перевода — один месяц.

Работа закипела. Она заполняла собой все малейшие промежутки в служебной и прочих видах деятельности моих родителей, не давая ни отдыха, ни сроку, вытесняя собой все прочие мысли, занятия и интересы. Среди ночи устраивались читки отдельных переведенных отрывков, дом заполнился словарями, разговоры — англицизмами, а печка ежедневно набивалась забракованными рукописями, благо на бумагу «Профиздат» не поскупился.

Вчера наконец кончили. Квартира по этому случаю была прибрана, и в качестве заключительного пиршества в печке был изжарен этот самый грандиозный баран.

Я безучастно посмотрел на него, развернул и поставил его на стол. Потом движениями осенней мухи стал раздеваться.

— Ты что это, даже лопать не будешь? — изумился батька, стоявший в ожидании дальнейших пояснений.

— Нет, — ответил я и нырнул носом в подушку. Сил на то, чтобы закутаться в обетованное одеяло, у меня уже не хватило. Батька постоял, посмотрел, потом подошел, подтянул мне одеяло до уровня самого носа, подоткнул его со всех сторон и пару раз ткнул меня легонько кулаком в какое-то место. На этой отеческой ласке я прошел за свинцовые ворота мира грез и сновидений.

\* \* \*

Поздно вечером, когда я, уже проснувшись, кайфовал в постели, из одной половины мозга в другую перекачивая ленивые, как вареники, мысли, на горизонте наконец появилась мамаша. Она вошла, обвешанная, как всегда, заматанными на руку веревочными корзинками с картошкой, книгами и хлебом, в замызганных грязью ботах и с тем обычным выражением безразличной усталости на лице, с которым ложатся спать москвичи и которое накидывает человеку лишние десять-пятнадцать лет возраста.

Но сегодня во всей ее манере было что-то особенно трагическое. Она ни слова не произнесла, тяжело поднимаясь по лестнице, шепнув только тихое «здравствуй» отпиравшему ей батьке. Вош-

ла, стала посреди комнаты и потом, не сделав даже попытки выпутаться из своих корзинок, толчком опустила голову и заплакала.

Я вскочил с кровати. Вошедший за ней в комнату батька удивленно посмотрел на ее вздрагивающую фигурку:

— Что такое, Тамочка? — он неловко бросился ее разгружать, попутно пытаясь заглянуть ей в лицо. — Что с тобой? Чего ты, детка?

— Все ни к чему! — вырвалось у нее. — Вся работа пропала!

Я голыми руками обнимал ее промокшее от весеннего дождя пальтишко, и звуки ее голоса доносились откуда-то из мокрого зайца ее воротника, прилипшего к моему плечу.

— Что пропало? Куда пропало? — волновался батька, пытаясь обнять еще свободные места и наконец обнимая нас обоих сразу.

— Все пропало! — И среди холодных капель дождя на плече я почувствовал несколько горячих.

Через несколько минут успокоительных мероприятий ситуация начала мало-помалу выясняться. Оказалось, что, несмотря на настойчивые требования Тамочки вовремя поместить в «Правде» объявление о том, что «Профиздат» собирается выпустить «Meanwhile» по-русски, никто в несусветимом кабаке издательства об этом не позаботился. И вот сегодня — нате! — Тамочка ткнула нам измятый номер «Правды». Там, отчеркнутое красным карандашом, стояло объявление, что «Госиздат» уже перевел эту книгу и она поступает в продажу... В ответ на Тамочкины упреки заведующий «Профиздатом» только пожал плечами и заявил, что «такое со всяким может случиться»... Теперь денег с «Профиздата», конечно, никаких не получить, месяц бешеной работы, а главное, перевод, который действительно был сделан хорошо, — все это полетело в прорву.

Это было, конечно, большой неприятностью. Тамочка еще поплакала некоторое время, потом излила все свои благопожелания заву «Профиздатом», батька, успокаивая ее, успокоился немного и сам, и наконец было решено приступить к потерявшему свою радостную символику барану.

Но за бараном настроение, как и всегда в присутствии этого благородного зверя, постепенно развеялось.

Огромная кафельная печка, занимавшая по

половине каждой из наших двух лилипутных комнатушек, как какой-то толстый, сияющий самодовольством Будда, распускала вокруг себя тепло, уют и благодущие. Сегодня в нее на предмет изжарки барана были запиханы последние щепки остававшихся с зимы дров, и приятно было думать, что теперь, месяцев по крайней мере на четыре-пять, отпадет еще одна лишняя зимняя забота — о дровах. Ибо все-таки почти всю эту зиму корчевка коряг и собирание сучьев в салтыковском лесу принадлежали если не к самым неприятным, то, во всяком случае, к самым насущным процессам поддержания нашего существования.

После того как в желудках, промывая бараний жир, приятно забулькал кипяточек со всамделишным сахаром, после того как была излита накипь прочих мамашиних переживаний за сегодняшний московский рабочий день, я был наконец посажен докладывать о своих ночных похождениях.

Я сел по-турецки на кровать, набрал себе горсть добытых Тамочкой леденцов и, постепенно входя в раж, завел повествование. Советский кабак не был для меня новостью, но все же о настоящем кабаке я знал скорее лишь понаслышке. Ибо свои первые познания в этой области я почерпнул в ЦАГИ, а ЦАГИ все же был военным учреждением, где для настоящего кабака почва была, употребляя популярное советское выражение, неудобовосваемая. И теперь, попав из огня да без пересадки прямо в полымя, я невольно чувствовал себя человеком, вернувшимся в отчий дом из путешествия на Марс. Я сидел и докладывал.

Постепенно, однако, личная обида и беспомощность начали брать верх над чисто сенсационной стороной дела, и мой рассказ начал приобретать все более трагические тона.

Предки сидели и слушали. Но слушали они меня не так, как если бы я вернулся с Марса. Все это было для них старо как мир — разве что перелито в новые, еще неизвестные им, кинофабричные формы. То же самое творилось и во Дворце труда, где оба работали, в ВСФК, где работал батька, и в Профинтерне, и в тысяче других значных мест Советского Союза.

Мои рассказы напоминали те времена, когда я с расквашенной физиономией приходил домой и с ревом составлял коммюнике политического

положения великого мальчишечьего государства, которое довело меня до данного, очередного конфликта. Батяка никогда не входил в детали и не вдавался в разбирательство конфликтов. Он никогда толком не знал, кто именно такой Толька и имел ли означенный Толька какие-нибудь юридические права на аннексирование у меня какой-нибудь очередной особенно ценной «залезы»\*. Его диагноз и приговор был всегда прост, мудр и лаконичен: «А ты дай ему в морду!»

В глубине своей души я чувствовал, что батяка не совсем дал себе труд вникнуть в ситуацию, и с минуту недоверчиво смотрел на него. Но потом уважение перед его мудростью и знанием жизни брало верх, я шел и «давал в морду гнусному империалисту» Тольке. Кстати, для таких случаев батяка меня и боксу обучал.

Мамаша же, всегда, как и полагается, искавшая случая пожалеть своего единственного отпрыска, принимала самое трогательное участие в горькой моей судьбе, но, обмывая расквашенный нос, все же никогда не рисковала благословить меня на какой бы то ни было реванш. Так что в тех случаях, когда моя оскорбленная честь находила себе утешение не на батякиных коленях, а на мамашинной груди, акт мести откладывался обыкновенно до того неопределенного времени, когда я вырасту большим.

Так было, так есть, так, вероятно, останется и до скончания веков. Ибо для всякой мамашы ее отпрыск — «до старости щенок». Так было и в данном случае. С той только разницей, что в данном случае я уже не ревел, надо признаться, не потому, чтобы я к этому времени уже разучился реветь, а скорее потому, что считал это занятие несовместимым со своей высокоответственной должностью. Думаю, однако, что зареви я по-хорошему — мамаше стало бы сразу и проще, и легче на душе: на этот случай у нее были уже давно разработанные и абсолютно верные методы действия, которые она и не замедлила бы применить. А так, слушая мой эпически-обозленный стиль повествования, она только сидела, беспомощно сетовала на Роома и прочих «негодяев», изредка обращая требующие сочувствия взоры на главу семейства.

Глава семейства сидел и реплик не подавал. Когда же я, добравшись до собственных горьких размышлений о моей дальнейшей судьбе в случае, если Роом и меня вышибет, кончил, он с ми-

нуту помолчал и потом тоном автора, говорящего о герое своего романа, заявил:

— Итак, значит-с, Квакеньш (это я) переживает период накопления горького опыта... Г-м... Ну что ж, накопляй, Квак, накопляй! Пригодится — воды напиться! А что касается твоего Роома, так я давно тебе говорю: выкинет он тебя или не выкинет — разница, как говорится, невеликая! Еще месяц-два — там тебе все равно не до Роома будет! В июне, в июле, как говорится... — он посмотрел на нас смеющимся оком хронического оптимиста, — тю-тю-ю!

Как-то не верилось, что это будет уже так скоро. Еще месяц-два, и мы будем топтать с рюкзаками за спиной по какой-то неизвестной Карелии, и все сразу оборвется... И Роома сразу больше не станет. И на «Meanwhile» тогда наплевать!.. Х-м...

А вдруг не выгорит?.. Да нет, куда там! 99 против одного, что не выгорит! Где там проберешься при такой охране границы? Скорее всего, нас сцапают. Тогда крышка, конечно. Впрочем, и тогда на Роома тоже наплевать!..

Но могут и не сцапать! Может случиться, что вообще вся эта комбинация сорвется. Вот если, допустим, Тамочку не выпустят: ведь ей по лесу не пройти!

— Ну, там тю-тю не тю-тю, — отвечал я, — а что я буду делать, если все сорвется?! Тебе хорошо, ты всегда обратно пристроишься, а мне? Опять чтоб зима пропадала? Нет, Роома надо все-таки как-то обойти!..

### Тихая заводь

Я стал искать путей «в обход» Роома. Побывав как-то, во исполнение давно данного обещания, у режиссерши Владимирской и выплакав на ее дошатай, но все же не чуждой материнских инстинктов груди свою наболевшую душу, я получил от нее целый ряд практических наставлений, выучил целую серию различных технических приемов и обогатил свой душевный мир несколькими принципами из числа тех, которые внушаются ученикам в младших классах иезуитских школ. Владимирская принадлежала к тому редкому, с моей скромной точки зрения, выс-

\* Так на моем тогдашнем детском языке называлась коллекция всякого старого железа.

шему сорту людей, которые за свою долгую, до отказа набитую романтикой жизнь очень хорошо усвоили цену и добру, и злу и стали достаточно хладнокровными для того, чтобы не носиться с первым и не трепетать в ужасе перед вторым. Она знала цену и тому, и другому. Работа в советском кино отучила ее от самолюбия и гордости, дав ей взамен холодную эластичность стального хлыста, который гнется только для того, чтобы в нужный момент ударить. Но в то же время Владимирская достаточно успела узнать людей и людишек для того, чтобы сменить ненависть и презрение к ним на спокойную, анатольфрансовскую любовь. Такой любовью человек любит канарейку. Канарейка и сама не подозревает, что она кем-то любима.

Мне были преподаны несколько приемов и принципов жизненного джиу-джитцу. Предполагалось, что, выйдя после этого на ринг, я начну разбрасывать противников, как снопы сена, и что эти приемы и принципы несомненно оставят победу за мной.

Впрочем, оканчивая в опустившихся вечерних сумерках свой длинный, полный жизненной мудрости монолог, Владимирская задумчиво поглядела в потолок и, выпустив тонкую струйку папиросного дыма, произнесла:

— Эх, Юра, Юра!.. Детеныш вы еще... Ну что толку с того, что я вам сейчас битых два часа галдычу! Говорила я вам — не суйтесь вы в кино! А теперь — что мне с вами делать?! Все равно вы ничего из этого применить не сумеете. Вам бы еще по полю, по травке бегать, а вы в кинофабрику сунулись! Ну... Попробуйте!.. Может быть, что-нибудь и выйдет... Только — имейте в виду: пока вы смиренно сидите — и вас никто не трогает. Но если вы начали драться и промахнулись — тогда, — она сделала рукой движение, которым сворачивают шею цыплятам.

\* \* \*

С ночи того памятного заседания, на котором Роому было дано понять, что он не получит Горького, не разделавшись, по крайней мере, с одним из двух других сценариев, работа развернулась во всю ширь бешеных большевистских темпов. В работу была взята уже вся группа.

«У меня безумный день или женитьба Фига-

ро!» — говорил Калужный, когда кто-нибудь пытался посягнуть на пять минут его времени. Роом умудрялся находиться повсеместно в одно и то же время, а я совсем уж уподобился сорвавшемуся с подшипников жироскопу. Иногда, предвидя на ближайшее будущее десяток более или менее невыполнимых заданий, я плевал сразу на все десять с тем, чтобы устроить себе часа два передышки. После этого я добровольно шел подставлять свою голову под — чи так, чи так — неизбежные лавины роомовских проклятий.

Эти часы, не имея времени добраться до Салтыковки, я предоставлял в распоряжение своего 161/2-летнего сердца. В одном из мелких, пересекающих Тверскую, переулков, в домике, занявшем территорию бывшей жактовской помойной ямы, простерло свою тихую заводь семейство... назовем их, *nomina sunt odiosa*, Алабинскими.

Папаша Алабинский был старым Ватикиным знакомым, премированным советским пройдохой, коммерческим директором одного подмосковного стекольного завода (одно слово «коммерческий директор» чего стоит!) и человеком, у которого чувство совести не то чтобы атрофировалось, а, так сказать, вообще не развилось, оставшись в эмбриональном состоянии с самого детства. По внешности он мне почему-то всегда напоминал старика Карамазова — быть может, из-за своих, именно «пивных», глазок. В выпившем состоянии он демонстрировал свое презрение ко всяческой мирской суете, швыряя пригоршни медяков в толпу и наливая в разжатую пальцами пасть своего кота Васьки крепчайший торгсиновский коньяк.

— Эх, Васька! — философствовал он при этом, не обращая внимания на предсмертное бульканье в котовской глотке. — Пей, сукин кот! Ты счастливый, мерзавец, тебе жить немного осталось! А мне?! Эх-ма! И мне тоже немного, Васенька!

При этом он пытался обнять Васеньку, прижимая его к шее. После таких лирических сценок на Алабинского выливался весь имевшийся в доме запас йоду, и он долгое время ходил забинтованным, как военный инвалид.

Но читатель ошибется, если подумает, что именно к старику Алабинскому меня влекла «неведомая сила». Дело обстояло проще и доступней пониманию: старика Алабинского Бог наградила двумя дочерьми, из которых одна была мо-

ей ровесницей. А ровесничество, как известно, — *dangereux voisinage*.

С Иринкой, так ее звали, я когда-то давно-давно был знаком, в бытность нашу в Одессе, но ее тогда держали в черном теле светского воспитания, да и возраст был тот, когда обе половины человечества, женская и мужская, разделены непроходимой пропастью взаимного презрения и непримиримости. В то время в интеллигентских семьях еще сохранились дореволюционные критерии воспитания и поведения, критерии, которые, вместе с очень многими другими «буржуазными предрассудками», были впоследствии начисто сдунуты вихрем революции. Если раньше Иринка носила две перевязанные голубыми бантиками косички, то теперь, мотая головой, она взметала путаницу задорного бубикопфа и с одинаковой уверенностью лезла пятерней как в свою, так и в чью бы то ни было чужую шевелюру. Попытки придать моему чубу хотя бы относительно цивилизованный вид волновали ее душу так же, как впоследствии волновали души почти всех моих женских знакомых. Если раньше Иринку учили делать книксен, то теперь она жала руку с этаким безнадежным намерением вырвать ее у собеседника вместе с плечом. И, наконец, если раньше общество наших одесских сорванцов считалось для нее средой совершенно неподходящей, то теперь Иринка была вольна делать абсолютно все, что ей заблагорассудится, и пользовалась этим правом, подкрепляя его, в случае необходимости, искуснейшим умасливанием своего «папахена». Под лучами ее чар папахен таял, как масло на сковородке, воспитывая, таким образом, свою наследницу в полном презрении ко всему запретному. Говоря ретроспективно, нужно признаться, что Иринка не была самородком. Запас ее слов лишь немногим превышал обиходный словарь средней советской девушки, собственные мысли появлялись у нее неожиданно и редко, возбуждая у непривычных к этому собеседников взрывы восторга, а интересы ее концентрировались на узком и тихом, как речная заводь, кругу домашних сенсаций. Но Иринка была веселым и милым чертенком, с которым моя, так сказать, загубленная молодость вновь обретала самое себя. Впрочем, время от времени «некто сверху» кидал в эту заводь булыжники, от которых

все приходило в бурное движение: с регулярными промежутками в несколько месяцев папаша Алабинский садился в ГПУ.

Не говоря уже о том, что должность коммерческого директора сама по себе предрасполагает к близкому знакомству с этим учреждением, частная точка зрения Алабинского на систему советского государства делала это знакомство еще более тесным и чреватым неожиданностями.

Действуя *cum bonus pater familias*, Алабинский прежде всего считал, что главной функцией государства является прокормление и содержание в максимальном комфорте его, Алабинского, и его немногочисленного семейства. Если государство считало иначе, то Алабинский не пытался навязать ему своей точки зрения, предпочитая действовать на свой собственный риск и страх. На заводские средства он выстроил себе в центре Москвы небольшой, в три комнатки, но теплый и комфортабельный домик, что, по московским масштабам, эквивалентно вилле на Капри, и наполнил этот домик приблизительно всем тем, чего могли пожелать взыскательные души двух его дочерей.

Личное благополучие в Советской России не может быть эгоистичным. Не давая и не помогая жить другим, вы никогда ничего не добьетесь сами, и этот девиз был крупными буквами начертан на широко развернутом знамени Алабинского. Никогда не забуду разговора, происшедшего между ним и моим папашей где-то на Тверской улице. Оба куда-то спешили и на секунду столкнулись лицом к лицу.

— Я знаю, Иван Лукьянович, — проговорил Алабинский, еще на ходу протягивая батьке свою мохнатую лапу. — У вас нет дров! Вы их везде ищите и не можете найти! Так вы только скажите Алабинскому! Теперь вы можете считать, что дрова у вас уже в сарае! Завтра придет грузовик.

И он уже бежал дальше, бережно пронося между прохожими свой необъятный деловой портфель. Ватик так и остался с протянутой рукой глядеть ему вслед, не успев даже толком сообразить, в чем именно заключалось это заманчивое предложение.

Грузовик действительно пришел. Правда, не на следующий день, а недели этак через две, но он пришел набитый доверху прекрасными дубовы-

ми поленьями, которыми потом ползимы отапливались мы и некоторые из наших наиболее близких знакомых. Алабинский, если я не ошибаюсь, ничего не получил от батьки взамен этих дров, но, по-видимому, в топливных фондах завода оказался в то время некоторый безконтрольный излишек, которому Алабинский просто-напросто нашел более надежную инвестицию, чем благо советского государства.

Время от времени, когда дела принимали настолько путаный характер, что это становилось заметным со стороны «вооруженному глазу», выражение лица Алабинского принимало все более и более беспокойное выражение, он куда-то исчезал с семейного горизонта, предупреждая, что «это он еще не в ГПУ», наконец начинал предпринимать нервные попытки уйти с завода, говоря, что там его прижимают, что там все сидят склочники, которые только и мечтают о том, как бы закатать его, Алабинского, на Лубянку, словом — создавал вокруг себя атмосферу, по которой внимательный наблюдатель мог безошибочно определить время появления на квартире у Алабинского двух джентльменов в гороховой форме.

Так оно в результате и случалось. Иринка начинала беготню по знакомым и сослуживцам, Галка (младшая сестренка) оставалась на хозяйстве одна, деловито объясняя случайным посетителям, что «папа поехал в гипию, но сказал, что скоро вернется», а дирекция завода начинала слезно молить прокуратуру и угрожать Наркомлегпрому срывом плана, если Алабинского в самом срочном порядке не выпустят. Ибо если заводу нужен был уголь, то месторождения этого ископаемого были известны одному только Алабинскому. Если жене главного директора завода нужен был лисий воротник, то это был Алабинский, который выменивал у Союзпромхоза стеклянную тару на проволочные решетки, а решетки у подмосковного лисьего питомника — на шкуру чернубурой лисицы.

Под давлением обстоятельств, «корешков» и планового отдела Наркомлегпрома ГПУ соглашалось наконец отпустить душу Алабинского на покаяние — под гарантию заводской ячейки и взяв с него подписку о невыезде. Алабинский снова появлялся у семейного очага, но все же за то время, пока длилась вся эта канитель с расследованием дела, ходатайствами и гарантиями, он

успевал спустить несколько килограммов весу на лубянском пайке. Сроки отсидки варьировались между тремя днями и шестью месяцами.

Впрочем, очень многое из его сравнительного везения в этом смысле объяснялось его темными связями с одним очень крупным коммунистом — неким Сенькой Бржезинским. Сенька Бржезинский был старым большевиком и занимал какой-то неясный пост в военной промышленности. Он часто бывал за границей, откуда привозил дочерям Алабинского самые разнообразные заморские диковинки, особенно уделяя внимание вкусам и пожеланиям Иринки.

Я не знаю, в чем находили себе большее объяснение парижские туфельки, браслеты, платья и тому подобные стенобитные для женского сердца принадлежности — в желании ли потрафить отчей любви или в том неравном бою, который велся между Иринкиными шестнадцатью и Сенькиными пятьюдесятью годами. Я не берусь также судить о том, на чем больше зиждилась эта странная дружба между мелким речным шуренком Алабинским, с одной стороны, и крупной океанской акулой Бржезинским — с другой. Чем больше объяснялись неоднократные рискованные вмешательства Сеньки в односторонние разговоры между ГПУ и проворовавшимся сверх нормы Алабинским: старым ли, со времен Гражданской войны, знакомством, или каким-нибудь особенно темным пятнышком на их общей биографии, или же, быть может, Сенька просто был принят в компаньоны по «аксплоатации» того капитала, который представляла собой Иринка...

А сам папаша Алабинский? Его поистине трогательное отношение старого жовиального вдовца к своему драгоценному сокровищу — была ли это действительная отеческая любовь или только стратегия, которая должна была в решительный момент не допустить Иринку до черной неблагодарности?..

Как-то раз после сорвавшегося первого побега, после месяцев, которые я провел в каком-то летаргическом сне и никого не встречал из своих знакомых, я зашел посмотреть, что случилось с тем камельком, у которого так хорошо зализывались раны от роомовских оплеух.

Алабинского дома не было. Мне открыла Галка. Девчурка посмотрела на меня большими удивленно-испуганными глазами и потом указа-

ла кулачком с зажатым леденцом на палочке в сторону спальни.

– Иринка большая! – сказала она. – Она в жагсе жамуж вышла.

– Замуж? – удивился я.

– Жайди, жайди! – встрепенулся Галчонок, сообразив, что ляпнул что-то неподходящее, что может заставить меня, его фаворита, уйти, не зайдя внутрь.

Я зашел. На большой, высокой кровати лежала Иринка. Похудевшая, бледная, слабая.

– Что с тобой, Ика? – спросил я. – Грипп?

– Нет, свое... женское... – тихонько ответила она, как-то виновато протягивая мне гибкую и тонкую свечную руку.

Я посмотрел на нее длинным, как секунды, взглядом. Она повернулась, и мягкий ежик ее бубликофа задрожал в складках подушки.

Я подошел поближе, окунул пальцы в пушистые волосы и чуть-чуть покачал ее голову с боку на бок. Потом повернулся и ушел.

– Ты ...ты не придешь больше? – испуганно спросила Галка.

– Не знаю, Галчоньш... Сейчас – вряд ли, – ответил я моему маленькому другу.

## IV Болшево

### Катаклизм

**Н**а фабрике темп работы нарастал, я бы сказал, в кубической прогрессии. Откуда-то стало известно, что ГПУ поставило невероятно жестокий срок для начала постановки горьковского сценария: 25 сентября должна была начаться съемка – и ни на копейку позже.

Прислушиваясь в содоме фабричных будней, на бегу внюхиваясь в неуловимые запахи закулисных течений, я постепенно определил диспозицию действовавших сил.

Против Роома стоял Балабановский с намерением перехватить у него Горького. Сценарий еще не был окончен, еще не было даже в точности известно, о чем в нем должна была идти речь, но два шакала уже грызлись из-за падали еще бегавшего по лесу медведя.

У Роома были какие-то темные связи с самим Горьким, зато у Балабановского – какие-

то, не менее темные, связи в ГПУ. Вполне логично рассудив, что победа имеет все шансы остаться за последним, Басс принял сторону Балабановского и строил Роому каверзы по линии постановки двух других, из жадности понахватанных Роомом, фильмов. Разговор теперь шел о том, чтобы до двадцать пятого сентября успеть окончить «Пять восходов» и ухватиться за подготовительную работу к постановке горьковского сценария еще до того, как этот сценарий появится на кинофабрике. Роом предполагал пронюхать о содержании сценария прежде Балабановского – таким образом, он был бы перед Балабановским в некоторой форе, которая позволила бы ему все же оставить фильм за собой. Когда сценарий пришел бы на чистку в кинофабрику – у Роома была бы уже проделана подготовительная часть работы, и все преимущества, таким образом, остались бы на его стороне.

Но беда была в том, что до двадцать пятого сентября справиться с «Пятью восходами» было почти так же невыносимо, как поцеловать самого себя между лопатками. Это с самого начала было ясно всем здравомыслящим членам роомовской группы, это постепенно начинало становиться ясным и самому Роому.

Он иступленно мотался, делая какие-то конвульсивные и ничем уже не объяснимые рывки и экивоки, речь его стала совершенно невнятной, а в глазах появилось какое-то бешеное отчаяние кота, загнанного двумя псами в угол между брандмауером и высоким каменным забором. Наконец как-то раз в кабинете у Басса он забился в эпилептическом припадке. Я отвез его домой, оставил на попечение фабричного врача, доктора Эргеля, и решил, что теперь дня хотя бы на два я смогу предоставить свои постаревшие и пообтершиеся на фабричных лестницах кости жидкому золоту летних солнечных лучей.

Но не тут-то было! Под вечер следующего дня я снова получаю от Роома телеграмму, лаконичную и бестолковую, как всегда, когда обстоятельства заставляли его выражаться лаконично.

«*Приехал Ясновский тчк срочно тчк*». Очевидно было, что слово «срочно» относилось к моей не медленной явке. Отношение к делу Ясновского (того самого, от которого Роом заполучил «Ти-

хий Дон» и которого я эскортировал в отпуск на южное побережье Крыма) терялось в затемненной последними событиями психике Роома. Я бросил шитье рюкзака, спроектированного мной специально для хождения по карельским лесам, и, проклиная день своего рождения, двинулся в город.

\* \* \*

Роом встретил меня позой, которая заставила надежды всколыхнуться в моей остывшей груди. Он стоял посреди комнаты на каком-то сооружении из двух табуреток и бидона из-под керосина и что-то привязывал к ламповому крюку в середине потолка.

— Завтра едем в Болшево! — заорал он мне, фыркая от скопившейся на потолке паутины и пыли.

Надежды увяли.

— Куда, Абрам Матвеевич?

— Дайте мне со стола этого паршивого канделябра! Я же должен при чем-то уметь читать! Сидишь, как церковная мышь, впотьмах и даже не можешь ничего прочесть, когда нужно!

Я дал ему «этого паршивого канделябра», но как только он попытался соединить провода, раздался тихий треск, табуретки зашатались, и гром от свалившихся на пол Абрама Матвеевича и керосинного бидона заставил сбегаться соседей.

Однако, как это мне ни показалось странным, это интермеццо нисколько не повлияло на прекрасное расположение духа Абрама Матвеевича. Он, ожесточенно, но сравнительно беззлобно ругаясь, вытер тряпкой ободранные при падении ладони, затем подошел к письменному столу и помахал у меня перед носом пачкой тонкой, почти папиросной бумаги.

— Вот оно! Я вам говорю — вот оно! Вы знаете, что это такое? — Он развернул листки в руке верером, как игрок разворачивает особо удачно подвалившие карты. — Это конспект Алексея Максимовича. И чтоб теперь Балабановский лопнул, лопнул, лопнул, лоп! — неожиданно заключил он соловьиной трелью.

— Ну, хорошо, Абрам Матвеевич, — неопределенно возразил я. — Но как же с «Восходами»? Что вы вместе будете крутить?

И холодок пробежал у меня по спине при одной мысли от такой возможности.

— Э-э, плевать мне теперь на «Восходы»! Я ж вам телеграфировал, что приехал Ясновский! «Восходы» мы теперь будем кончать в следующем году.

— ... ?

— Что вы смотрите?! Вы что, идиот, что вы не понимаете? Я ж вам говорю — приехал Ясновский! Ангелы принесли мне его на крылышках! — И Абрам Матвеевич даже попытался жестами изобразить технику перенесения Ясновского на крылышках. — Ой, какой же вы идиот, сколько раз я вам говорил! Теперь Ясновский берет себе свой «Тихий Дон» обратно, и я остаюсь с одними «Восходами»! А Басс с носом! Хэ-хэ-хэ!

От такого неожиданного оборота дела Роом был в тихом, самодовлеющем восторге. Он расхаживал по комнате карикатурно-марионеточным шагом, извиваясь при этом всем телом, как если бы вместо аршина он проглотил живую очковую змею, время от времени шелкая пальцами и экзальтированно бормоча:

— Пусть они теперь выкусят Абрашку! Пусть они теперь, сволочи, выкусят!

— Так вот, Юрий Иванович, — Роом внезапно прервал свою перипатетику. — Конспект я получил только два часа тому назад, так я его сейчас буду читать. Вы его тоже прочтете, только завтра, когда будем ехать, а пока что я вам даю действующих лиц, вы себе купите пять толстых блокнотов (главное — «купите»! Где их к чёрту купишь по московским кооперативам!) и будете подбирать в коммуне типаж, фольклор и вообще всякий блат, чтобы были потом материалы, знаете. Только имейте в виду, что Болшевская коммуна — это кусочек ГПУ, так что... Ну, я думаю, вы не совсем такой уж дурак, как можно было бы себе думать, но только я хочу сказать, чтобы вы были сплошная корректность! Понимаете? Ну, остальное — завтра в автомобиле! Значит, кройте, спите хорошо (!) и скажите дома, что вас не будет неделю! Завтра в восемь утра — у меня, тут! Поняли? И возьмите мыло с полотенцем, если есть! Аривидерчи!

После разговора с Роомом у меня почему-то всегда было такое ощущение, как будто я только что сыграл несколько отчаянных ставок в рулетку и на затраченный миллион выиграл наконец полтинник.

### Путь в рай

Без десяти восемь следующего дня я был у Дверей дома, на котором благодарные посетки прибьют когда-нибудь мраморную доску с надписью о том, что здесь жил и трудился великий А.М. Роом.

Перед дверьми стояла огромная и зверски шикарная машина с маленькой серебряной борзой на радиаторе. В машине за рулем гордо замер человек в настоящей шоферской фуражке и сером кителе. Под колпаком своих зеркальных стекол он казался торжественным, как Ильич в своем Мавзолее, каким-то неправдоподобным и чуть-чуть комическим.

— Ого, «линкольн»! — подумал я, выкопав из памяти свою берлинскую эрудицию по автомобильным фирмам. — Кто бы это мог быть?

Когда я поднялся наверх, загадка «линкольна» разъяснилась. Старательно уместившись между зияющими пролежнями роомовского дивана, сидел наш старый знакомый Сидоров, секретарь Горького, бывший, по-видимому, тем самым мостиком, по которому Роом перебрался через склоку вокруг горьковского сценария. С достоинством абассинского раса он потел в заграничном желтом макинтоше, брезгливо подобрав его полы и избегая смотреть на окружающую обстановку.

Минут через пять слоновья поступь на лестнице оповестила нас о прибытии Оськи Калужного. Он вошел в сопровождении Штосса. Эта пара почему-то всегда напоминала мне одну мою знакомую, весьма корпулентную немку, неизменно водившую за собой крохотного терьерчика на цепочке и в попонке.

Роом, бывший, как и следовало ожидать, в приподнято-боевом настроении, окинул взглядом собравшееся общество, с сожалением оторвался от своего скипетровидного красного карандаша, которым он делал какие-то последние пометки в конспекте сценария, и повелительным жестом указал на меня перстом.

— Блокноты? — в его голосе было нечто от генералиссимуса.

Я показал пачку фактур салтыковского кооператива, по благу добытых у знакомого счетовода. Обратная сторона фактур, если не считать покрывавших ее селедочных пятен, была еще сранительно чиста. Роом благора-

зумно принял фактуры за блокноты. Перст направился на Оську:

— Аппарат?

Оська ответил угрюмо-иронической усмешкой. Водоизмещением в хорошую шарманку, на его боку висела кинокамера со штативом, делая вопрос об ее наличии совершенно излишним.

— Значит, все о'кей! — шегольнул Роом англицизмом. — Если для вас безразлично, тов. Сидоров, значит, можем ехать!

\* \* \*

Пока дело шло по самой Москве, машина летела плавно, оглушая львиным рыком своей привилегированной сирены гражданское население, терроризируя постовых мильтонов и прижимая к тротуару слишком уж раскидавшиеся керосинные и хлебные очереди в переулках.

Но как только маршрут вывел нас на окраины и потом — в поле, на так называемое «шоссе», после того, как низкосидящий кузов несколько раз глухо стукнул о хребты шоссеинных волн, шофер, сдержанно, но неистово ругаясь, перевел машину на вторую скорость и дальше пошел уже на минимальном газу, тормозя перед каждой колдобинной. На таком ходу уже не было возможности перегонять облака пыли, поднимаемые передними колесами, герметически закупоренные окна стали матовыми, и пейзаж стал доступен взорам только сквозь пару маленьких секторов в переднем стекле машины.

Спереди сидели Сидоров с шофером, Штосс путался ногами с Роомом, а передо мной возвышалась пресловутая шарманка, нежно обнимаемая Оськиными ручищами.

Мне было жалко бедную машину, как жалко бывало смотреть на непривычного иностранца, попавшего в переплет московского трамвая. Она не жаловалась, это дитя комфорта и бетонных автострад, только изредка, на особо суровых ударах судьбы, тихо, с аристократической сдержанностью стонала. В такие моменты с ней вместе стонал и шофер, у которого болела душа за свое детище. Только стоны шофера были менее аристократическими.

Роом передал мне конспект с директивой прочесть его до нашего прибытия на место. Но при данных сейсмографических условиях о чтении,

конечно, не могло быть и речи. Действующие лица были мне приблизительно известны — их краткую характеристику я прочел еще вчера вечером, — но роль их так и осталась до поры до времени тайной.

Главная роль предназначалась, по-видимому, некоему парнишке по наименованию Ашка-Желвак, каковой парнишка должен был, по архитектурному замыслу сценария, обладать всеми типическими качествами матерого беспризорника. Далее следовал старик взломщик, у которого этот Ашка-Желвак находился в обучении. Старика почему-то полагался грудной баритон и три дочери-карманницы.

Все это было ничего. Но затем следовала роль, которая приводила Оську в восторг, меня в смущение, а Роома — в тихий и откровенный ужас: это был негритенок Васька-Дери — ухажер за всеми тремя благородными девицами сразу.

— Вы этнологию учили? — перебил меня Роом, больше всего обеспокоенный судьбой именно этой роли. — Вы знаете, как выглядит негритенок? Такие губы, знаете, — и он наизнанку выворачивал то, чем его Игова наделил вместо рта. — Я вам говорю — чтоб вы мне нашли негритенка. И чтобы это не был какой-нибудь китаец или индеец, а чтобы именно был негритенок! Мы его потом сажай вымажем, только чтобы губы не подкачали! Понимаете вы, ученый!

Через какой-то неопределенный промежуток времени (дело, видимо, уже шло к обеду) в одном из прочищенных автоматикой секторов на переднем стекле показалась какая-то бутафорская триумфальная арка, одна из тех сотен и тысяч трехкопеечных арок, которые воздвигли на пути социализма его экспансивные поборники. Шофер пробурчал что-то невнятное, а Сидоров, обернувшись, заявил, что еще минута — и мы приехали.

Минута оказалась пятью минутами, но, в конце концов, мы все-таки действительно приехали.

— Welcome! — приветствовал нас по-английски какой-то тип в белых брюках, желтой ковбойке и невероятной расцветки тюбетейке, предупредительно открывший широкую, как забор, дверцу автомобиля. Он, как выяснилось впоследствии, принял нас за каких-то английских туристов, но, в тот же миг убедившись в своей ошибке, поправился:

— Э э... извиняюсь, граждане, вы откуда? Ваши пропуска, пожалуйста!

Вышедший с другой стороны Сидоров гаркнул ему что-то в ответ, на что парнишка засуетился и стал криком вызывать «гражданина начальника». Тогда меня в первый раз поразила эта странная формулировка: «гражданин начальник». Обычно в СССР слово «гражданин» считается в высшей степени официальным и употребляется только между незнакомыми людьми. Даже в армии принято всего только навсего «товарищ начальник». А тут вдруг — «гражданин»!

Впоследствии я узнал, что вольный человек заключенному не «товарищ» точно так же, как заключенный вольному даже и не гражданин, а только «з/к» (сокращение от «заключенный»). Еще немножко позже, сидя в лагере, я имел возможность зазубрить это противоестественное наименование, зазубрить его так, что теперь оно для меня даже легче просто «товарища». Когда же я в 1934 году в Финляндии в первый раз услышал русское «господин», у меня было ощущение, будто мой собеседник надо мной издевается, и я долгое время продолжал обзывать всех товарищами, чем приводил в шокированное восхищение окружающих.

Пока мы, скрипя затекшими членами, выби- рались из машины, на крыльце домика появился «гражданин начальник». Это был высокий, средних лет человек, в белой косоворотке, галифе и сапогах дудочками. Ветер трепал странную смесь седых и белокурых волос на его голове, а от близоруких глаз разбегались к вискам пучки морщинок. Близорукие глаза обладают удивительным качеством: даже самой гнусной чекистской роже они придают какую-то нотку симпатичности.

Правда, физиономию «гражданина начальника» нельзя было назвать чекистской рожей. Если бы я его встретил где-нибудь на Северном полюсе, я бы принял его за Амундсена. Это был тип человека, на всю жизнь отравленного северным сиянием и ослепленного блеском айсбергов. Казалось, что здесь, в Москве, он только на недельку задержался перед новым, уж которым по счету, арктическим походом.

Неловкая, но полная достоинства учтивость, немного охрипший на полярном ветру баритон и сдержанность человека, которому есть слишком много о чем порассказать для того, чтобы стоило рассказывать.

Это было первое впечатление, которое я вынес о товарище... Назовем его, за полным забвением его настоящего имени, допустим — Дегтяревым!.. Впоследствии я получил возможность понять, что тов. Дегтярев не был Амундсенем. Он был начальником Болшевской исправительно-трудовой коммуны ОГПУ, а политический альпинизм подбирает людей совсем с особыми качествами.

Дегтярев принял нас с той скучающей радушностью, которую воспитывает в своих служащих образцово-показательная сеть советских учреждений и которая так смахивает на радушность гидов европейских музеев. Нас представил Сидоров, который, видимо уже не в первый раз, пользовался гостеприимством Дегтярева.

— Вот, тов. Дегтярев, — проурчал он конспиративным басом, — те, о которых я вам говорил в прошлый раз: Абрам Матвеевич Роом, его оператор Калюжный и их помощники.

— Очень приятно! — каким-то отсутствующим тоном произнес Дегтярев, но глазки его сложились в две блестящие щелки, как будто где-то в голове у него был поставлен яркий фонарь, и нам по очереди протянулась тонкая и длинная, но немного огрубевшая рука. — Товарищи из кинематографа?

Оська ухмыльнулся. «Из кинематографа!» Так, по его мнению, выражались «синие чулки» времен Екатерины Великой.

— Не то чтоб из кинематографа, а из «Союзкино» — да! — заявил он ироническим басом. — По-пэрэк очывьдноты нэ попрэшь! — Для Оськи не было авторитетов, перед которыми спасовала бы его хулиганистая жилка...

— Калюжный! — грозным тенорком оборвал его Роом. — Не встревайте в разговор!

Оська сверху вниз поверх шарманки взглянул на Роома, как бы хотел его спросить: «Чего тебе там хочется, маленький?» Губы Дегтярева чуть расползлись в улыбку, а Сидоров мгновенно залотошил, чтобы замять неловкую паузу.

— Так вот, тов. Дегтярев. Я сейчас еду обратно и заеду за Абрам Матвеевичем через два дня. К тому времени, я надеюсь, уже будут какие-нибудь определенные результаты налицо. Вот тут для вас личное письмо от Алексея Максимовича, сопровождаемое припиской секретаря товарища Ягоды, а Абрам Матвеевич сам вручит вам свою командировочную. Для Абрам Матвеевича са-

мое важное — типаж, для Алексея Максимовича — разумеется, фольклор. Так что было бы хорошо, если бы вы смогли устроить нам несколько чего-нибудь вроде сходок, спевков или бесед и дали возможность помощнику Абрам Матвеевича беспрепятственного проникновения в самую, так сказать, массу ваших питомцев. Он — еще человек молодой (игривый взгляд в мою сторону), так что, я думаю, он скоро найдет точки соприкосновения с ними! Не правда ли, Юрий...

— Ох, Иванович! — подсказал я.

— Ох Иванович? — прищурился в мою сторону Дегтярев. — Смотрите, молодой человек, как бы вам не стать «Ох Ивановичем» на все время вашего пребывания здесь! Здесь, знаете, публика едкая!

— Постараюсь! — скромно ответил я. Но было уже поздно: какими-то неисповедимыми путями это злосчастное «ох» просочилось из того узкого круга, в котором оно родилось, и после этого в течение всех восьми дней, что я пробыл в Болшеве, никто, в том числе и Оська с Роомом, меня иначе как Ох Ивановичем не называл.

Поговорив еще минут пять на обычную случайную тематику первых пяти минут знакомства, Дегтярев предложил нам отправиться за его помощником, который должен был расквартировать нас в отведенном нам таком же маленьком, беленьком домике по соседству. Метрах в трехстах от него высились три или четыре громады новых бетонных общежитий для «питомцев», как выразился Сидоров. Промежутки между общежитиями были заполнены зеленью, из которой там и сям проглядывали черепичные крыши таких же маленьких коттеджиков. Тут располагались посетители сортом пониже. Посетителям сортом повыше было предоставлено нечто вроде отеля на холме, метрах в восьмистах от общежитий. Там были зеркальные окна, лифты и мальчишки в красных ливреях с позументами. Мальчишки тоже были «питомцами» и, ввиду этого, никогда за пределы непосредственной территории отеля не выпускались.

### Об яичнице и правонарушителях

Расквартировались мы сравнительно быстро. Наши немудреные пожитки, состоявшие из полотенца и зубных щеток, были запиханы в ма-

ленькие кокетливые ночные столики; нам с почти западноевропейской тщательностью были посланы широкие и облачно мягкие постели, затем какой-то тип, походивший на хорошо выдрессированного орангутана, принес горячей воды для бритья и заявил, что нас уже ожидает обед на фабрике-кухне.

Мы, конечно, делали вид, что все это так и полагается, что ко всему этому мы привыкли давным-давно, еще со времен вступления нашего пролетарского отечества в социализм. Роом даже до того обнаглел, что потребовал у орангутана, чтобы тот вычистил ему сапоги. Орангутан еще не был в курсе дела относительно нашей настоящей сущности и, подавив в себе легкое замешательство, повиновался. На другой день, однако, после того, как он убедился в высоте нашего полета, в нем сказалось его пролетарское происхождение, и воду для бритья он вычеркнул из круга своих обязанностей.

Один только Оська не пытался скрыть своего восторга. Бухнувшись всей своей семипудовой машиной на пружинную кровать, он стал на ней с гоготом подпрыгивать, не обращая внимания на уверения Штосса в том, что кровать — особа женского пола и грубого обращения не понимает. Свою шарманку он сразу же распаковал и стал направо и налево щелкать «интерьеры». Он навинтил ее на штатив, огромный и прочный, как тренога легкого противотанкового орудия, и по пути на фабрику-кухню держал ее на плече, как Геркулес свою палицу. Иногда, завидев среди встреченных какого-нибудь особенно смачного ворюгу, он угрожающе размахивался ею и с полного размаху бросал ее на землю, на все три ножки штатива сразу. Затем, после долгих манипуляций над обалдевшим «нарушителем социалистической законности», производилась съемка, и шарманка снова, описав в воздухе пару концентрических кругов, опускалась на Оськину косую сажень.

Такого обращения с камерой я ни до, ни после не видал и даже не предполагал, что существуют модели, способные на такие переживания, но данная модель, казалось, была сделана по специальному Оськиному заказу.

— Э, подумаешь! — заявил мне Оська (когда я попытался исполнить свой рыцарский долг относительно бессловесной шарманки). — Это

тебе не ТОМП. Это, братанчик, довоенный Эрнеман! Производства до Тридцатилетней войны! Им Валленштейн своим ландскнехтам головы проламывал! А впрочем, — добавил он, помахав камерой в воздухе, — если мне «Союзкино» дает аппарат, так от этого аппарат еще не становится моей собственностью! Не так ли, мой юный друг? — он посмотрел на меня взглядом, требующим беспрекословного понимания.

\* \* \*

Фабрика-кухня была железобетонно-стеклянным зданием, напоминающим павильон воздухоплавания с парижской выставки 1937 года. Это был именно тот тип социалистической столовой, который мерещился Маяковскому в его социальном заказе «Летающий пролетарий».

Летают сервированные аэростоловые Нарпита:

*Стал*

*и сел.*

*Взял*

*и съел.*

*Хочешь — из двух,*

*хочешь — из пяти,*

*на любой дух,*

*на всякий аппетит... и т. д.*

Отдельные квадратные, покрытые скатертями столики вместо длинных дощатых нар, типичных для московских столовок; стулья, а не скамейки; огромные молочные шары люстр вместо засиженной мухами лампочки под потолком, и, наконец, нечто, чего с московскими столовками вообще не сравнишь: на каждом столике — горшок с настоящими живыми цветами.

На столиках предупредительно разложены меню. Меню небольшое, но изысканное: окстэйл-бульон, борщ. На второе — свиные отбивные, какое-то там рагу и обязательно что-нибудь вегетарианское... Дальше — в том же духе: мороженое, пудинг и прочие хорошие вещи из сказок Обри Бердслея.

К обеду мы опоздали, так что ко всей этой лукулловской номенклатуре я сперва отнесся с легким подозрением: чёрт их знает, что они там называют, например, свиными отбивными: в московском «Савой» я по добытой мамашей

профинтерновской книжке едал котлеты, шедшие за куриные. На самом деле это была рубленая и вываренная морковка, помазанная сверху советским мясным экстрактом...

Опоздавшим — кости: на сцене появился повар, весь в белом колпаке, и заявил, что все уже остыло, а подогревать что бы то ни было у них не принято. С достоинством матерого метрдотеля он предложил нам выбор между бифштексом «а-ля минут», с условием потерпеть минут десять, и яичницей с ветчиной, которую он обещал смастерить минуты в три. Вместо супа он вытряс нам из своего волшебного рукава грушевый компот, который, по его мнению, прекрасно соответствовал ванильным печеньям, оставшимся, если он не ошибался, от торжественного бракосочетания двух членов коммуны. Бракосочетание имело место сегодня утром, так что печенья еще не успели пересохнуть.

Самое трудное — это было делать абсолютно незаинтересованный вид. Мы исподлобья переглядывались, не решаясь остановить своего выбора на бифштексе или яичнице. Почему-то чудилось, что, отважась кто-нибудь из нас высказать вслух свое пожелание, и повар вместе со своим бетонно-хрустальным замком разлетится, как сладостно-кулинарный сон советского обывателя.

Скорее всех нашелся Оська.

— Лопни мои глаза — яичница! — заявил он тоном буссенаровского пирата, разрешившего проблему выбора между бриллиантовым перстнем и пленной красавицей, — яичницы с ветчиной я аж с самой Ахтырки не бачив! Только штоб на смальце, та а цибулькой, раз уж на то пошло!

Повар изогнулся, выражая этим свое одобрение и одновременно найдя в этой позе более удобный предлог, чтобы не заметить Оськиного провинциализма.

— Ну, а мне, конечно, бифштекс, — процедил Роом, бросая на Оську уничтожающие взгляды.

— Я, пожалуй, яичницу! — решил я, сообщив, что яйца все-таки труднее имитировать, чем бифштекс!

— Эх, мама! И мне яичницу! — поддержал нас Штосс. — Только... — он на секунду замялся, — хорошо бы водчонки предварительно!

— Спиртные напитки на территорию коммуны

не допускаются! — холодно заявил повар. — Если товарищи имеют вкус к квасу, — добавил он несколько мягче, — то я могу услужить превосходным монастырским хлебным! Сварен по рецептам старого Николо-Угрезского монастыря, и могу похвастаться, — здесь колпак повара отошел вместе с волосами назад, давая место широчайшей самодовольной улыбке, — действительно, превосходен!

— Пускай квас, пускай квас! — решил Роом, пока разочарованно переглядывались Калюжный со Штоссом. — А то мой бифштекс действительно остынет!

— Бифштекс вам только еще будут жарить, Абрам Матвеевич! — нескромно вставил я.

— Ну так или он пережарится, какая разница! Мне кажется, я вам скоро должен буду делать замечания, Юрий Иванович!

К тому моменту, когда наколотые на вилку хлебные корочки, описывая по тарелкам мягкие скобки, вылизывали последние остатки яичницы, огромные стеклянные двери пустого зала зашевелились, пропустив стройную белую фигурку «гражданина начальника». Теперь он был в теннисном костюме и в этом функционалистическом окружении напоминал куклу с макетов социалистических городов далекого будущего.

— Ну как, товарищи? — спросил он, подойдя пружинистым шагом и присев на край соседнего столика. — У меня в распоряжении пятнадцать минут, я хотел бы их использовать, чтобы дать вам несколько предварительных объяснений. Сегодня вечером вы пожелаете ко мне: там соберутся начальники колонии и мои помощники — тогда вы сможете получить более полное представление о коммуне. Пока же, если разрешите, — пятнадцать минут.

Тон у него был такой, что не четырнадцать и не шестнадцать, а вот именно пятнадцать минут: к минуте коммунист должен относиться столь же бережно, как к священной и неприкосновенной социалистической копейке! Впрочем, о том, как дела обстояли с копейкой, мне, надеюсь, доведется рассказать позднее.

Дегтярев начал с каких-то статистических данных, которых я, не будучи гением эрудиции, приводить не буду. Он говорил о процентном соотношении преступной и не преступной части населения до и после Октябрьской революции.

По его данным выходило, что самой своей

сущностью воспитывая в своих гражданах преступные черточки, прогнивший царский режим боролся с армией правонарушителей, чуть ли не в десять раз превышавшей то небольшое «наследство», которое принуждена была перенять от него советская власть. Он говорил о том, что священный огонь Гражданской войны, возгоревшийся в груди «законнарушителей из протеста», переплавил их души в новые формы отважных бойцов и строителей социализма.

Обладая небольшой долей аналитического скептицизма, его слова можно было расшифровать и в том смысле, что красная гвардия почти сплошь состояла из «законнарушителей» с возгоревшимися душами. Но аналитический скептицизм в советских условиях присущ одним лишь великомученикам.

— Нам почти не приходится иметь дела со взрослыми законнарушителями, — говорил он, потирая длинными гибкими пальцами тщательно выбритые щеки. — Их почти не осталось. (Впоследствии, попав в лагерь, я получил возможность обследовать места, где эта вымирающая разновидность водилась еще во вполне достаточном количестве. Впрочем, даже на воле беспристрастный исследователь мог очень просто убедиться в ее наличии, на минуту оставив свои карманы или чемоданы без присмотра.)

— Процентуально больше всего места в контингенте наших воспитанников, — продолжал он, — занимает молодежь двадцати двух, двадцати трех лет. Это-то и есть основное наследство от царского режима: они вошли в революцию семи-восьми лет от роду, потеряли родителей в Гражданской войне и волей-неволей принуждены были пойти по скользкой дорожке. Это же одновременно и самый трудный, самый аморальный слой советской преступности. Они буквально с пеленок привыкли считать себя вне закона и, попадая к нам, не имеют понятия не только о какой-то там морали, но просто смотрят на все остальное человечество как на какую-то совершенно отдельную, низшую и презренную расу. Мы с вами для них — морлоки, фраеры! — Он, видимо, вошел во вкус своего повествования, немного разорячился и стал сопровождать свою речь округленными адвокатскими жестами. Морлок Роом, мрачно чавкая, дожидывал свой бифштекс.

— Притом, — продолжал Дегтярев, на секун-

ду вслушавшись в хлюпающие звуки роомовских челюстей, — необходимо отметить, что мы принимаем сюда только правонарушителей-рецидивистов: для того чтобы быть принятым в Болшевскую коммуну, необходимо иметь минимум пять приводов или судимостей. Перековка такого человека в честного советского гражданина занимает у нас от одного до трех лет. Бывают, конечно, случаи, когда и пять лет не помогают. Тогда, — он замаялся, — тогда случай признается безнадежным...

Мы не стали спрашивать, в чем заключается признание случая «безнадежным».

— Пять приводов, — мечтательно произнес Оська. — Абрашка, сколько у тебя судимостей? — У меня екнуло сердце. — А скажите, когда человек садится в ГПУ — это тоже считается приводом?

— Я тебя... Я тебя, сукина сына!.. — взвился Абрашка...

— О, нет! — галантно ответил Дегтярев. — Под приводом мы понимаем только чисто уголовный эпизод!.. Для политических преступников ГПУ располагает специальными учреждениями, которые, впрочем, не хуже нашего справляются со всей нагрузкой...

\* \* \*

— Е-дондер-шиш, — бормотал Оська, сшибая своим штативом головки с придорожных цветов, когда мы неразлучным табунком покинули храм гастрономии. — Придушить Абрашку... Угробить Басса... Вскрыть кассу в финотделе... Штоб такое еще?.. Ох Иваныч, посоветуй!

— Чиво-с?

— Посоветуй, друже, чего-нибудь такого, для стажа!

— Для стажа? — я посмотрел на Оську снизу вверх светлыми глазами младенца, глаголющего истину. — Вас, Осенька, не возьмут! Вам ведь за сорок!

— Ух, верно! — огорчился Оська. — А то еще признают, как взрослого законнарушителя, несуществующим!

— Или безнадежным случаем... — вставил я.

— Эхма! — разочарованно произнес он. — Некуды податься! Не житье нам, старикам, в этой юдоли слез.

\* \* \*

Время с обеда до вечернего заседания мы провели в гео- и этнографических изысканиях на территории коммуны. Переживая некоторое время, пока желудок справлялся со свалившейся в него манной небесной, мы сомкнутыми рядами двинулись по широкой аллее, обсаженной пылающими факелами пирамидальных тополей. Был ветреный и ясный вечер, и тополя полоскали свои упругие верхушки в потоках кроваво-красного ветра.

— Ух, кадры! Ух, кадры!.. — бормотал Оська, щуя глаза и шествуя размашистым шагом спущенного на берег моряка. Его необъятные, как театральные занавесы, штаны тоже полоскались по ветру, облипая несуразно толстые икры, и он в благодушном восторге хлопал себя по заголившемуся из-под белой майки животу.

Пустая днем аллея была теперь полна зашабашившим населением коммуны. Парочками и табунками двигались раздобревшие правонарушители обоюбого пола, изливая свою упитанность и радость своего стопроцентно-утопически-коммунистического жития в раскатистом хохоте, блатных песенках и не придушенном буржуазной моралью флирте.

Впереди нас двигалась компания, вооруженная лирой советского романтизма — шестирядной гармошкой. Вихрастый парнишка в трусах и красной футбольной майке томно перебирал подмывающие звуки каких-то совершенно незнакомых мне мотивов, и ему вразброд, страдающими голосами, подпевали трое укулеманных в красные платочки девиц. Несколько туже обыкновенного обняв их талии одной рукой, парнишки, замыкавшие шеренгу с флангов, свободными конечностями улавливали из двигающейся толпы других таких же представительниц слабого и пестрого пола. Таким образом, компания постепенно разрасталась, занимая уже всю ширину аллеи и грозя окончательно заслонить собою горизонт.

«Неужели это все воры?» — думал я, толкаясь на ходу плечом в Оськин бок, твердый, как куль муки. Так приятно было пихать эту тушу, сознавая, что ей плевать, что она даже на сантиметр не поддается под моими толчками. Я в первый раз в своей жизни видел легально существующих воров и бандитов, и это зрелище

производило легкий диссонанс в моем миропонимании. Я чувствовал себя, как местечковый еврей, который, в первый раз в жизни увидев жирафа, после долгого раздумья твердым тоном заявил: «Не может быть!» Однако все это были воры, и воры не какие-нибудь, а, так сказать, пятисотпроцентные: только самые неудачливые из них имели пять краж, взломов или убийств. Для этого им нужно было регулярно попадаться после каждой «работы». Большинство же имело в своем послужном списке по пятнадцати, по двадцати деяний, предосудительных с точки зрения даже советского закона... Да-а, долгим стажем они заслужили себе местечко на этом седьмом небе советского рая...

На вечернем заседании товарищи начальники колонны поймали меня на рефлексивном жесте: я опасливо прижимал локти к карманам и слегка отодвигался, когда кто-нибудь подсаживался ко мне рядом. Гомерический хохот долгое время оглашал стены низкого и широкого приемного салона частной квартиры «гражданина начальника».

Я растерянно оглядывался по сторонам.

— Пузырится! — выдавил из себя один из сатрапов, захлебываясь саркастическим смехом. — Мерлушку прикапывает!.. Хэ-хэ-хэ!..

Это заявление не рассеяло моего недоумения.

— Сколько раз я вам говорил, Юрий Иванович... — начал было Роом, решивший, очевидно, что я снова натворил что-то, порочащее его режиссерское достоинство.

— Простите?.. — переспросил я сатрапа, разворачивая папирусный свиток своих блокнотных фактур. Для большей портативности я свернул их в трубочку и, подобно египетским писцам, перематывал их по мере заполнения вменными мне в обязанность записями.

— Мерлушку прикапываете! — пояснил мне сдержанно улыбавшийся Дегтярев. — Мерлушка — это, вообще говоря, золотые часы. А прикапывать — это... вроде как бы беречь, что ли. Не то чтобы прятать, а, так сказать, не выпускать из виду.

— Ну так что?.. — удивленно воззрился я на него. Золотые часы принадлежали к довольно-таки толстому слою предметов, которыми мне не довелось обладать в моей жизни. С какой бы стати я стал их «прикапывать»?.. И почему этот несущ-

шествующий факт доставляет такое удовольствие моим собеседникам?.. — А «пузыриться»?

— Пузыриться — это то, что вы сейчас вот делаете, — пояснил он, заглушаемый новым, еще более ураганным взрывом хохота. — Это когда фраер в толпе на всякий случай за карманы придерживается. Думает, что это его от чего-то уберезет... Дело в том, что, когда новый человек приезжает к нам в коммуну, он первое время обязательно пузырится. Это уж такая традиция! А у нас тут такие ширмачи есть (карманники — пояснил он в скобках), что любого фраера на пари обчистят. Скажут вам, например, чтобы вы завтра утром зашли за вашими часами в бюро находок. А часы при вас. Вы их, конечно, начинаете прикапывать. Но только до завтрашнего утра у вас их все равно не будет! Вы — в бюро находок: смотрите, они там лежат, вас дожидаются!.. Хе-хе-хе...

Я сообразил, что товарищам начальникам колонн было приятно, хотя бы по одной терминологии, вспомнить минувшие славные дни, и из солидарности тоже заржал. Но когда, бросив взгляд через плечо на сидевшего в кожаном кресле Роома, я увидел, как тот украдкой под рукавом ощупывает свой ручной «хронометр», в моем смехе появилась нотка неподдельной искренности.

\* \* \*

Светлым фактом в нашей научно-исследовательской прогулке по территории коммуны был тот, что мы нашли смущавшего покой роомовской души негритенка.

Шествуя по аллее, мы набрели на огромное пространство, занятое под восемь или десять теннисных кортов. Справа от кортов возвышалось широкое бревенчатое здание раздевалки, на плоской крыше которого стояли столики, покрытые белыми, вздувающимися на ветру скатертями, и несколько пестрых парашютообразных зонтов. Естественно, что туда мы и направили свои стопы.

Открывшаяся перед нами панорама очаровала — кого своей красотой, кого своей фотогеничностью, а меня лично — двумя дюжинами белых рубашек, от которых возгорелось мое пострадавшее за теннис сердце. Я стал пристально всмат-

риваться в игру каждой пары по очереди, сопровождая свои наблюдения пинками в Оськин бок в особо азартных случаях.

Внезапно мое внимание было привлечено странным явлением: подобно дьяволенку в стаде херувимчиков, среди белых рубашек копошилось нечто черно-лиловое, в красных трусах и невообразимо кучерявой шевелюре.

— Чёртова перечница! — подумал я. — Или это чемпион здешних мест по загару, или у меня дальтонизм!

— Оська! Возьмите-ка ваш светофильтр и посмотрите вон туды!

Оська посмотрел по указанному направлению, потом недоуменно на меня, потом — снова на корт. Потом мы переглянулись и сломя голову ринулись вниз по лестнице.

— Куда вас, черти?.. — донесся нам вслед умирающий возглас Роома. Но мы не слушали. Вылетев на площадку, возбуждая у игроков генеалогический интерес к нашим предкам, мы стали лавировать между сетками, мячами и белыми рубашками, держа курс на черное пятнышко, подобно овчаркам, завидевшим волка в бараньей отаре.

Он играл. Он не был продуктом дальтонизма, он даже не был чемпионом загара. Это был самый настоящий, стопроцентнейший негритенок, с улыбкой — как будто из черного арбуза его рожницы кто-то вырезал здоровенный ломоть от уха до уха. Глаза его напоминали фары автомобиля в непроглядной темноте африканской ночи, а волосы — ту стальную стружку, которой европейские хозяйки выскребывают свои кастрюли и пятна на паркете. От времени стружка становится такой же черной, каким был колтун на яйцеобразной башке этого черномазого дитяти далекого знойного юга.

Выстроившись вдоль проволочной сетки, мы недоверчиво переминались с ноги на ногу, предаваясь всякого рода фантастическим измышлениям.

У какого африканского бога хватило фантазии занести своего верного раба в это атеистическое окружение?.. Почему этот урожденный хамит так изысканно и беззаботно кроет своего партнера чистейшим славянским матом?.. Откуда, наконец, такое счастливое совпадение: вам нужен негритенок? — Нате вам негритенка! Словом, догадкам и предположениям не было конца.

Таким образом, мы проторчали столбами под сеткой минут двадцать. Потом, наконец, виновник торжества с кошачьей ловкостью сбил своему противнику последний гейм, издал какой-то родной его сердцу победный клич и, вращая над головой ракеткой, направился к выходу. Здесь он попал в поле обстрела Оськиной гаубицы, угрожающе сверкавшей черным дулом объектива. У ее казенной части, замумфлированной огромной черной простыней, суетился сам Оська, накручивая взад и вперед свои прицельные приспособления.

Подойдя ближе, негритенок, как это ни странно, не испугался и даже не сделал никакой попытки к бегству или самозащите. Наоборот, завидя аппарат, он сам бросился к нему навстречу, осклабил так, что я ужаснулся за целостность его черепной коробки, и, вращая белками, стал шагах в трех от аппарата в позу победителя. Оська перестал вертеть наводку и вставил кассету.

— Бэ-ээ! — над аппаратом появилась физиономия Оськи, скроенная в какую-то невероятную рожу. Геройское выражение на лице победителя сменилось удивлением и испугом.

— Клик, — щелкнул аппарат.

Окружившая нас компания зрителей разразилась дружным хохотом. Кассета в аппарате была быстро перевернута. Негритенок, сообразив, что его провели на мякине, принялся восторженно гоготать, приседая и хлопая себя по ляжкам. «Клик! клик!» — щелкал аппарат, запечатлевая самые неожиданные варианты сверкающей, как лакированный ботинок, негритянской рожицы.

Так было заведено знакомство с отпрыском сухумского негра и донской казачки Сашкой, некоронованным принцем Болшевской коммуны и основным героем всех литературных, фото- и киноотчетов об этом доме отдыха для ветеранов отмычки и шпалера.

\* \* \*

Впрочем, Болшевская коммуна не была домом отдыха в полном смысле этого слова. Здесь царил воспитательно-трудова система, которая все-таки не позволяла околачивать груши слишком уж откровенным образом. При коммуне были свои производства, в том числе довольно крупные мастерские различного спортивного инвентаря.

Здесь производились коньки, лыжи, футбольные мячи и бутсы, клюшки, сетки и, наконец, теннисные ракетки. Работа оплачивалась пропорционально проценту выработки особым, так называемым «внутренним» болшевским рублем, вне коммуны хождения не имевшим и подбиравшимся по стоимости к старому, доброму, доверенному целковому. Средний заработок среднего коммунара равнялся, по словам Дегтярева, пятидесяти-шестидесяти таким рублям в месяц. Были, однако, и специалисты, выколачивавшие до ста-ста пятидесяти рублей.

В коммуне были свои магазины, в которых можно было достать все то, что презренная вольная часть человечества доставала в сезонах Торгсина, принося туда недопертые у нее коммунарами «мерлушки», крестики и обручальные кольца. Были в коммуне театр и кинематограф, куда приезжали на гастроли лучшие труппы СССР и ставились лучшие, иногда даже заграничные, фильмы. Были свои кафе, спортплощадки и катки зимой.

Как-то раз, зайдя в мастерскую, в которой производились теннисные ракетки, я обнаружил там одного старого папашиного знакомого, некоего Цыганкова. Цыганков меня в лицо не знал и поэтому в сжатой и искаженной официальностью своего положения форме рассказал мне свою историю, которую я слышал от папаши в ее аутентичном виде. История эта, хотя она и имеет к данному повествованию лишь весьма косвенное отношение, все же достаточно примечательна, чтобы стоило потратить на нее несколько скупых строк.

В свое время Цыганков был ракетным мастером-кустарем в Москве, где имел свою, довольно большую, мастерскую. Его ракетки были каждая своего рода шедевром и знатоками ценились настолько, что экспортировались даже в Англию (!). Потом пришла национализация. Цыганкова, как кустаря с наемной рабочей силой, обложила фининспекция. Он рассчитал наемную силу и стал на положение кустаря-одиночки.

Мой отец в это время работал в ЦК Совторгслужащих в качестве инструктора по физкультуре. Когда спортивной секции ЦК понадобились ракетки, он стал подыскивать подходящего для этой цели кустаря и набрел на Цыганкова. После долгих мытарств с обеих сторон Цыганков,

наконец, получил заказ от ЦК на несколько сот ракеток. Об этом заказе пронюхала фининспекция, и Цыганков снова был обложен. Заплатил. «Эге!»— подумала фининспекция и обложила раба божьего еще, еще и еще раз. В конце концов, раб божий Цыганков появился в ЦК с мольбой снять с него фатальный заказ, иначе он лопнет и поедет в концлагерь, а ЦК все равно останется без ракеток. Но ЦК уже заплатил порядочную сумму вперед и подарить ее фининспекции отказывался. Цыганков вернулся домой, попытался загнать кому-то свою мастерскую и был пойман с поличным. Мастерская была опечатана и продана с торгов фининспекцией, а Цыганков куда-то исчез с горизонта. Последний акт драмы был завершен в ГПУ. Севшему Цыганкову было предложено заведовать большевской ракетной мастерской. Он отказался, заявив, что «пусть они ему кишки на струны вымотают, а работать на них он не пойдет». Тогда посадили жену и брата. Он угрюмо отмалчивался. Тогда ему сказали, что его ребятишек возьмут в детдом, после чего он сможет встретиться с женой и братом на том свете.

— Вот они, мои ракетки! — говорил мне Цыганков после того, как я открыл ему свое инкогнито. — Я на них, на ракетках, сорок восемь годков просидел! Был у меня в Лавре приятель, тот иконы писал. Так вот для меня ракетка — та же икона была! Уж я ее бывало сделаю! И обмажу, и полижу, и стеклышком подскоблю! А теперь? Ракеток вам хочется, товарищи?! Нате вам ракетки! — Он яростно хлопнул своим произведением о кончик сапога, и тот саркастически высунулся из лопнувшего кордажа...

### «Индия»

Поздно вечером, когда на черное небо китайским фонариком вылезла луна и окончилось неискренне напыщенное собрание товарищей сатрапов, мы, возбужденным гвалтом прочищая прокуренные легкие, высыпали на аллею перед коттеджем «гражданина начальника».

Под конец собрания я внезапно почувствовал себя чертовски усталым, приумолк и, спрятавшись в темноте за широкой спинкой роомовского кресла, думал о той невероятной душевной жилистости, которой должны были обладать все эти советские сатрапы и визири,

ежеминутно и ежечасно долбящие одни и те же стандартно-бряцающие фразы... Какую поистине крабью психологию нужно иметь, чтобы говорить об альтруизме, о человеческом счастье и о прочих вещах в этом царстве глубоководных рыб; где человек человеку не то что волк, а какая-то восьминогая председательски ядовитая сволочь... сволочь, о которой никогда не знаешь, с какой стороны и каким шупальцем она тебя обожжет или придушит, чтобы потом, на досуге, медленно сожрать...

Избыток переживаний за сегодняшний день вывел меня из строя. Возбуждение сменилось апатией, и я сам себе казался восьмилетним карапузом, «после бала веселого» заснувшим на широких отцовских плечах. Подбородок покоится на мягкой папашинной макушке, ручки обняли шею, и отдаленно, сквозь сон, констатируются какие-то мерные покачивания. Это папа — кораблем пустыни — шествует домой.

К Роому подсел какой-то тип и что-то ему красноречиво плетет о своем презренном прошлом и сияющем будущем. У типа глаза агнца и челюсть Джека-Потрошителя. Я начинаю как-то безразлично опасаться, что Абрашка заставит меня что-нибудь записывать.

Два каких-то гугенота стали перед развалившимся на диване Оськой и тоже что-то глаголят. Глаголом жгут его ожиревшее сердце. Из моего угла мне не видно выражения Оськиного лица, но я его себе как-то очень живо представляю. Губы, наверное, искривились так, что не разберешь — выражают ли они иронию или молчаливое восхищение. Гугеноты действуют по способности оба сразу. До меня долетают отдельные шаманские выкрики: «...Пролетарское самосознание». «...Почему я стал честным...» «У товарища Ягоды такие глаза». «Мое возвращение в семью трудящихся...»

...Господи, неужели с ними никогда не бывает так, чтобы им хотелось немножко заснуть?.. Почему они не остались просто честными ворами?..

\* \* \*

Я хапал свежий воздух и понемногу приходил в себя. Тополя стояли как длинные мягкие кисти, обмакнутые в жидкое серебро. Гравий неожиданно громко хрустел под ногами, образуя вдоль по аллее лунную дорожку в море чер-

ной зелени. Издалека доносилось какое-то ритуальное пение.

Мы двинулись медленным шагом перипатетиков, взяв друг друга под руки. Впереди пошли Роом с Дегтяревым и еще с кем-то, потом Калюжный со Штоссом и со своими гугенотами и, наконец, сошка помельче — я с тремя сатрапами. Они, видимо, тоже были довольны благополучным окончанием официальной части заседания. Кто-то из них стал вполголоса подпевать долетавшему откуда-то мотиву.

— Кто это поет? — спросил я, вспомнив ночи на Холодной Балке под Одессой, где я малышом успел еще послушать замолкнувшие с тех пор настоящие украинские песни.

— Это наш культпросвет упражняется! — заявил кто-то горделивым тоном. — Хотя, — он прислушался, — это, пожалуй, индейцы собрались! Ты как думаешь, Генька?

Генька тоже прислушался.

— Факт, что Индия! Слышишь?

— Да, жаль, бра-ти-шеч-ка, я ско-ван кан-да-ла-ами...

— Это уж факт Индия!

— Какая Индия? — удивился я.

— Индия? А-а, это... Объясни ты ему, Жука, я там не был!

— А-а, брат, Индия! — нерешительно начал Жука. В нем, видимо, боролась официальность его положения с какими-то неофициальными воспоминаниями. — Индия! — полумечтательно добавил он. Потом опасливо посмотрел вперед на спину своего патрона, переглянулся с коллегами и, таинственно прижав к себе мой локоть, шепнул:

— Знаете что, Ох Иваныч, гайда, отцепимся от паровоза, — он кивнул в сторону патрона, — и дунем тудою! Посидим, послушаем, сами попойем! Вы там чего-нибудь записать сможете, если вам надо! — Он заглянул мне в глаза, как бы пытаясь установить степень важности для меня этих моих записей и вместе с тем возможности иметь со мною дело как с человеком.

Я так же пристально посмотрел на него и, собрав весь еще оставшийся у меня запас бодрости духа, ухарски подмигнул.

— Шатай взад, ребятки! — вполголоса распорядился Жука. Мы замедлили ход и, дождавшись, пока головной отряд удалился метров на пятьдесят, тихонько свернули в боковую аллею.

\* \* \*

— Вишь, какое дело, — говорил мне Жука, парнишка лет двадцати пяти, с лошадиной физиономией, украшенной целой коллекцией самых разнообразных шрамов. — Есть в Костроме один такой изолятор, там, так сказать, несовершеннолетним вход воспрещен: одни короли сидят. Короли — это по-нашенскому, значит, бандюги. Мировые, так сказать! Их там, конечно, тоже перековывают, только... Проще говоря, меня сюды оттедова живьем взяли. За примерное поведение, так сказать. А которые не примерные, так тех там, значит, одно слово — перековывают.

Он многозначительно посмотрел на меня. Я, конечно, понял.

— Перековывают?

— Вот именно, перековывают. Которые, значит, настолько несознательный элемент, что за ними по пятнадцать побегов имеются, которые с фомкой родились и за фомку помирать пойдут, тем, значит, костромской ИЗО самое место: можно сказать — пансион благородных девочек.

Остальные спутники шли молча, подхватив нас с обеих сторон под руки. Чувствовалось, что сами они к теме повествования отношения не имеют, но слушают не без интереса. Так слушает молодое население судового кубрика рассказы старого боцмана.

— Так вот, значит, — продолжал Жука, — имеется в ентом самом пансионе одна камера: как ты в эту камеру попал — так можешь, значит, делать все, чего тебе твоя правая пятка захочет. Хочешь — спи целый день, хочешь — души кого попало! Потому как в этой камере дверь только внутрь открывается, а наружу — нет. Можешь, значит, считать, что тут тебе пожизненную пенсию выписали. И никто в эту камеру не заходит, и никому до нее никакого интереса нет. Бачок с баландой раз в день и хлеб раз в день. А кто уж там этот хлеб ест и кто не ест — за это, извините, администрация не ручается. Раз в три дня приходит поп-ка\* и спрашивает: «Мертвяки есть?» — «Есть, гражданин начальник, так тебя и так!» — «Значит, тащи их, мертвяков, сюды, братцы-товарищи!» Кто, конечно, посильней да покрепче, тот, значит, живет и размножается. А которые, значит,

\* Тюремный надзиратель.

ежели нет — тому и карты в руки: катись, браток, ножками вперед. Полный, можно сказать, социализм наблюдается.

— Кхе-гм,— кашлянул мой сосед справа.

— То есть я хочу сказать... — попробовал было вывернуться Жука, но я перебил его:

— Ну, я в общем понимаю: бесклассовое общество!

— Оно самое, мать его... — обрадовался тот. — Кто был — знает! А кто не был, пушай стесняется, ежели на то его собачьей души станет! А я, браток, старый индеец, мне стесняться Бог не велит!

Он, харкнув, сплюнул, помолчал, потом сплюнул еще раз и продолжил:

— Так вот, значит, оттого как в этой камере темнота полная и опять же ни одна собака про нее ни черта не знает, так вот и пошло ей оттедова название «Индия». А которые, значит, в Индии жильцами — индейцами называются. Совсем, брат, специальный народ!

Он опять помолчал, как бы разглядывая проходившие перед ним воспоминания. Я почему-то подумал о том, что есть еще в мире люди, которые зачем-то пишут романы.

— И вот, значит, сам понимаешь,— продолжал Жука, — делать в этой Индии людям вовсе нечего. Сидять себе урки — смерти дожидаются. А это уж так повелось: когда знаешь — ты да смерть, да больше никого, так у человека в голове песни сами складываются... Страсть человеку песни петь хочется! И вот, значит, поют. Днем поют, ночью поют — все равно ни дня, ни ночи нет: окна наглухо заколочены. А какие в Индии песни поют — об этом никто и знать не знает: стенки толстые, наружу не слышно. А мертвяки, опять же, песен петь не умеют — значит, так на воле никто и не знает, какие в Индии песни поют... — Он снова помолчал и потом, уже в более бодром тоне, добавил:

— А тебя, Ох Иваныч, мы сегодня самой, можно сказать, что ни на есть распронастоящей Индией угостим: года полтора тому назад нас оттедова двадцать восемь человек живьем взяли. Взяли да спрямо сюда! Сказали нам: будете честными трудящими — останетесь. А ежели, говорят, что — тогда, братишечки, пишите письма! А кто в Индии побывал — тому помирать смерть как не хочется! Ну, мы, конечно, враз на таких фраеров переделались, что лучше нас во всей коммуне нет! Это-то вот, брат, она самая и есть — переков-

ка! Ты что, думаешь, Дегтярев тогда трепался насчет мерлушки-то? Факт! Самый что ни на есть факт, ей-богу! Здесь тебе, в Болшеве, вернее, чем в Госбанке, под запором: никто ничего не возьмет! Можешь десять тысяч деньгами прямо на дороге оставить, вернут! Потому как ежели не вернут... — он запнулся.

Я вопросительно посмотрел на него.

— ...Ну, канашка, мы еще, знаешь... познакомимся сначала, а потом!..

— Так кто ж тебе мешает? — удивился я. — Ну, спер, а потом — гайда! Кто ж здесь за тобой усмотрит?! Ведь здесь даже проволоки кругом нет, если я не ошибаюсь!

— Э-э, браток! Проволоки! Тут, браток, не проволокой держат! А потому что нет на свете такого урки, чтобы ни разу не засыпался. Ну, ежели, конечно, простой смертный засыпется — ну, его максимум в лагерь. Посидит месяц — смоеется. Поворует — опять сядет. Но это дело нерискованное. А тут...

— Да-а, тут что и говорить,— добавил Генька, шагавший на левом фланге. Генька, как выяснилось впоследствии, был местным художником, носил народовольческую гриву и отличался углубленной в себя молчаливостью.

— Что и говорить!.. — подтвердил правый фланг.

— Угу... — сказал я, делая на эту тему собственные предположения.

Мы переваливали через небольшой бугорок, весь заросший кустами акации. Пение, какой-то странный, неведомый мотив, внезапно будто кто-то раздвинул театральный занавес — наполнило весь воздух серебристыми звуками. Внизу, на полянке, лежа в разных позах на траве, расположилось человек пятнадцать. Они смотрели на луну, которая заливала их лица мертвецкой зеленью, и пели...

\* \* \*

Перевалив холмик, Жука замолчал, и я почувствовал, что наше появление нужно сделать по мере возможности менее заметным. Сойдя с аллеи на траву, мы тихо подошли и стали в стороне. Жука, подогнув ноги, сел, его примеру последовали и остальные. Из поющих никто не обернулся, только кто-то из лежащих напротив вски-

нул веки, и белки его блеснули в зеленых лучах луны. Я как-то поежился от этого блеска.

«Волки... — мелькнуло у меня. — Стая волков воет на луну!...»

Вспомнилась Скала Совета, на которой волки принимали в стаю Маугли. А вон и сам Акела — сидит спиной ко мне и как бы дирижирует, в такт наклоняя широченные плечи и кивая головой... Факт, что волки!

Временами Акела приподнимал опущенную на колено руку, как бы приглушая, соответственно со своим творческим представлением о песне, звуки своего хора. Казалось, что никто из поющих не смотрит на своего дирижера: кто опустил голову на грудь, кто закинул ее в небо, кто и совсем закрыл глаза, но эти беззвучные жесты каким-то непонятным образом воспринимались певцами, и песня то затихала, то вырастала, как звук приближающегося снаряда. Казалось, Акела играл на органе, клавиши которого сходились где-то внутри его огромного торса.

Лица были нездешние. Казалось, луна выманила со дна океана на берег команду какого-то затонувшего пиратского судна. Лица, покрытые шрамами от каких-то забытых абордажей, челюсти, которые от жевания табака и морских сухарей приняли форму паровозных тормозов, руки такие, что невольно опасно прикрываешь глотку... Ну-ну... Это значит — «Индия»...

— Вот этот, что в середине, — зашелестел, склонившись ко мне, Жука, — пахан. Ему было восемь лет, когда он в первый раз человека пришел. Своего родного батьку. А потом — пошло! Сел в Индию пять лет назад, потому как в Ростове кто-то восемь человек удавил, а сажать некого было. Вот он и сел. Ежели б докопались в твердую, что это он, — был бы сейчас на луне. А он, вон видишь, здесь сидит, только что поет на нее! У него к ей вообще пристрастие: знать, свидятся когда-нибудь! Ф-ф-ф-ф... — он так же шепотом хихикнул.

— Акела! — произнес я.

— Кто?

— Акела!

— Не, его Беляком звать! Тришка Беляк. А иначе у его, конечно, штук двадцать имен есть: на его угрозыск специальную книгу имеет!

Если бы моя проклятая память добросовестно зарабатывала свой хлеб, я бы привел кое-что из

этих песен. Песни были такие, что пальцы на ногах завивались... Какая-то смесь из Гумилева, Сельвинского и того таинственного незнакомца, чьим творением явился Стенька Разин. Волчи и песни. Песни о том, как мягко входит «перо» между пятым и шестым ребрами изменившей красавицы, о том, как «от марафета очи взбухли» и «все душе пропащей все равно...». Песни о том, как безнадежно крепки решетки и слабы голые человеческие пальцы...

А потом песни пошли специально «индейские»: о том, как спустили в «Индию» «легавого»\* и как «открутили» ему голову, а тело отдали «попке». Попка спрашивает — где голова? А ему отвечают, что, ежели он хочет голову — пушай сам за ней спустится. Попка спуститься не решается, так и торчит по сей день голый череп между решетками окна...

Или о том, как кто-то когда-то стал перочинным ножом рыть ход сквозь гранитный фундамент костромского изолятора. Рыл, рыл и вырылся наконец наружу... в раю. Представление о рае было у «индейцев» в высшей степени занимательное...

\* \* \*

В постель я попал, когда уже начало светать. Обстоятельства осложнились тем, что никто из моих чичероне не знал, в каком именно коттедже мы остановились. Постепенно теряя надежду, что нам удастся поспать в эту ночь, мы бродили по коммуналке, заглядывая в окна и тщетно пытались в темноте комнат различить какие-нибудь знакомые очертания.

Нас выручил Штосс, принимавший лунные ванны в обществе некоей прелестной правонарушительницы, неизвестно где и когда подцепленной.

Он расположился с ней на газоне перед коттеджем и при нашем приближении, если можно так выразиться, попытался пройти незамеченным. Однако наметанный глаз одного из моих спутников обнаружил нечто темное в кустах, и идиллия была нарушена.

— Ух, простите, пожалуйста! — стал изви-

\* Шпик, предатель, в данном случае — подосланный тюремным начальством.

няться обладатель наметанного глаза, когда убедился в своей ошибке. — Я думал, это кто-нибудь из наших!..

— Так какого же вы черта лезете не в свое дело! — возмущался Штосс. — Ваши — не ваши, какое вам-то до этого собачье дело?!

— Дисциплина... Я как начальник колонны... — оправдывался тот. — У нас есть особые помещения для... этой цели. Если вы потребуете, мы можем отвести вам комнату...

— Особое помещение?... — изумился Штосс.

— Ну да! А вы думали?! У нас тут такая Европа, что...

— Вот это я называю — заботливость! Вот это я называю — социализм! Это ж прямо-таки чёрт его дерит! — восхитился Штосс. В отношении поминования социализма к месту и не к месту (но по большей части не к месту) в Штоссе сказывалась Оськина школа. Когда осенью того же года Оська сел, Штосс предпочел смыться, не оставив адреса. И очень вовремя: через три часа после его исчезновения за ним приехал особый вид советского транспорта, именуемый «черным вороном»...

### Книга посетителей

**Я**пробыл в Болшевской коммуне семь дней. На третий день, повинувшись зову каких-то темных махинаций, Роом отбыл в Москву, и мы остались, если можно так выразиться, в своем собственном распоряжении.

Мы начали с того, что окунулись в самую гущу местного населения, что, при наличии Оськиного темперамента, особых трудностей не представило. Он балагурил с юнцами и вел высокотрансцендентальные разговоры с ворами постарше, ухарски сплевывая и невзначай меня кассеты в своей шарманке. К непрерывному шелканью, исходившему из этого его инструмента, население коммуны постепенно настолько привыкло, что уже больше не смущалось и не делало интеллигентных лиц в его присутствии. Я околачивался подобно космическому спутнику вокруг и подбирал крохи, падавшие с Оськиного стола, в виде особо специальных выражансов, прибауток и песенок, которыми так богат подводный мир советского общества.

Временами на территории коммуны появля-

лись люди в клетчатых коричневых гольфах, фетровых шляпах и с желтыми макинтошами, перекинутыми через руку. На боках этих типов болтались бинокли и «кодаки», а на лицах их была смесь из выражения лица «Алисы в Стране чудес» с выражением морды павиана, только что прибывшего в европейский зоологический сад. Это были «знатные иностранцы».

Их водил по коммуне никогда не терявший достоинства Дегтярев, в сопровождении нескольких особо проверенных на мимику сатрапов и хорошеньких переводчиц из «Интуриста». В коммуне переводчицы чувствовали себя как рыбы в воде, потому что если особенности их профессии создавали им некоторые затруднения, допустим, в Донбассе, то здесь, в коммуне, все проходило выверенно и точно, как в самой показательнейшей немецкой аптеке.

Если в Донбассе случалось, что какой-нибудь особенно оборванный «анфан террибль» портил своим мерзким видом и клянчаньем корочки всю разыгранную перед музыкальными иностранными ушами симфонию рабочих клубов, яслей и счастливой зажиточной жизни, то здесь, в коммуне, можно было быть уверенным, что ничего не попадется такого, что могло бы оскорбить нежный взор или слух заморского гостя.

Если голодный, оборванный и текучий донбасский горняк в ответ на какой-нибудь сахаринно-филантропический вопрос иностранца мог загнать этого иностранца, а вместе с ним и переводчицу, в какую-нибудь особенно изысканную распрокузкину мать, то от такого казуса в Болшевской коммуне можно было чувствовать себя наполно застрахованным. Здесь публика была дрессированная, как те львы, с которыми можно спать, положив им голову в пасть.

Конечно, кузькину мать можно расшифровать иностранцу как безудержное проявление восторга или обожания «любимого» и «единственного», но откуда у бедной переводчицы необходимый для этого запас сценического таланта и, опять же, что-то будет, ежели этого таланта не хватит и иностранец возьмет и не поверит!.. В коммуне же можно со спокойной совестью переводить слово в слово, даже не дожидаясь конца фразы. Фраза всегда будет изысканно социалистической, дышащей пролетарским самосознанием, классовой гордостью стопроцентного пролетария и беззаветной преданностью советс-

ким архипастырям. Бифштексы суть бифштексы, а «Индия» есть «Индия»...

Переводчицы щebetали, сатрапы извивались, негритенок Сашка скалил свою бесподобную улыбку, а знатные гости ходили китайскими болванчиками...

Однажды я испросил у Дегтярева разрешения увязаться с такой компанией. Я уж не помню, из кого именно она состояла, помню только, что после первого же раунда меня отогнал какой-то серенький типчик с глазами койота и со странным рельефом в области заднего кармана брюк. Стоявший рядом со мной взломщик-ветеран определил значимость этого рельефа с рефлексивной безошибочностью, которая вырабатывается годами его социально-близкой деятельности:

— Маузер 6,3!.. У у, б... легава!..

Ознакомившись на протяжении нескольких дней с чудесами советской пенитенциарии, милые гости под белые ручки провожались в святая святых болшевского клуба, где на красном бархате специального аналоя покоился библиеподобный фолиант в толстом пергаментном переплете. В десницу гостя предупредительно вкладывалось отвинченное стило, и бархатный баритон товарища Дегтярева с трогательным достоинством просил его вписать сюда несколько строк «на память» о произведенном на гостя впечатлении. «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня!»

Гость, застенчиво улыбаясь, принимал ручку, на секунду задумывался и вписывал несколько искренних, симпатичных слов о той неизгладимой памяти, которую оставило в его сердце посещение этого чудного уголка великой, свободной и поистине самой демократической в мире советской державы...

После этого гостю разрешалось присесть в одно из бездонных кожаных кресел в красном уголке и под внимательным руководством одного из сатрапов просмотреть страниц шестьсот этого человеческого документа. Тут на отдельных меловых страницах красовались царственные закорючки леди Астор, говорившие графологически образованному читателю о том экстазе, который охватил эту высокую особу после ее трехдневного пребывания в Болшевской коммуне. Несколько дальше расписался милый старичок — Бернард Шоу, известный безжалостностью к родному отцу,

когда дело идет о нескольких красных словах... или нескольких тысячах красных фунтов стерлингов? Нашли себе место на этих страницах и людишки помельче, и людишки покрупнее, и немцы, и англичане, и китайцы, и индусы, но если бы дотошный читатель случайно заглянул в корешок этого томища, ему бы, вероятно, бросилось в глаза одно странное обстоятельство: листы книги не были сшиты тетрадами, как это обычно бывает во всех себя уважающих и другими уважаемых книгах, но были вставлены туда по одному, совершенно отдельно от других, и не то чтобы прошиты, а так, каким-то особо остроумным способом провязаны шестью толстыми шнурами. Концов этих шнуров нигде не было видно, и снаружи книга выглядела так же, как и все прочее в этом занимательном учреждении: вполне честно и прилично.

Быть может, именно этим обстоятельством можно объяснить, что на все шестьсот страниц, другими словами — на все, по крайней мере, девятьсот—тысячу записей, имевшихся в книге посетителей Болшевской коммуны, когда Дегтярев предложил мне, для сведения «Союзкино», выбрать наиболее характерные из них, я нашел всего одну, одну-единственную, автор которой, хотя и в очень робких тонах, позволил себе усомниться в целесообразности помещения преступников в условия лучшие, чем условия жизни обыкновенного вольного гражданина...

Это была, если я не ошибаюсь, запись профессора Дьюи. Трудно предположить, что профессор был единственным умным человеком среди тысячи прочих. Впрочем...

### Колеса фортуны

Где-то когда-то я что-то слышал или читал относительно какой-то цикличности в жизни каждого человека. Человек якобы живет такими циклами, причем у разных людей эти циклы бывают разными, но у каждого строго определенной длины.

На основании опыта своих двадцати двух лет должен сказать, что эта теория, по крайней мере в отношении меня лично, оправдывается на все сто. Не знаю, как у прочих, но моя жизнь с самого ее чисто случайного начала проходит цикла-

ми, с той только разницей, что циклы эти строго определенной длины не имеют, а варьируются от одного часа до, кажется, максимум трёх месяцев.

В этом отношении я сам себе напоминаю муравья, задавшегося целью переползти через асфальтовую артерию большого города: отполз от тротуара в 0 часов 0 минут. Ползёт. Асфальт гладкий, и никаких препятствий не встречается. Потом вдруг на пятой минуте и двадцать пятой секунде нечто огромное сверху застилает горизонт, и велосипедное колесо откидывает нашу мурашку куда-то в неизвестность... Прочухавшись, мурашка, однако, снова обнаруживает под собой асфальт и, определившись по компасу, продолжает путь в том же направлении. Затем пролетающая мимо «испано-сюиза» невзначай налепит несчастное животное на белый ободок шины и протянет на себе несколько километров, пока та или иная причина не опустит его снова на тот же асфальт. Мурашка снова прочухивается и снова продолжает свой путь в детской надежде когда-нибудь всё-таки перебраться на ту сторону.

Так продолжается уже двадцать два, можно сказать, с половиной года. К такому ходу событий я уже давно привык и считаю его вполне нормальным. До сих пор (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!) мне везло в том отношении, что пролетающие мимо колёса не превратили меня в кляксу. Как-то обходилось. Я и привык, что всё это «как-то обходится», и упорно ползу по направлению.

Я не знаю, доползу ли я когда-нибудь до «той стороны». Быть может, на каком-то месте я продвинусь вперёд или отстану на полсантиметра, больше чем надо, и оставшаяся после меня клякса высохнет через две минуты после проезда по этому месту какой-нибудь паршивой детской коляски... Воля Аллаха...

По чистому и на редкость гладкому асфальту Болшевской коммуны я полз ровным счётом семь дней. Но потом, к обеду седьмого дня, на меня со свистом налетело переднее колесо какой-то очередной молоховской колесницы, и я, привычным жестом поджав голову и хвост, полетел куда-то в голубую неизвестность... Вслед за этим, правда, налетело на меня еще и заднее колесо, но об этом речь будет ниже. К обеду седьмого дня Оська внезапно получает телеграмму, из которой не явствует ничего, но

которую наметанные Оськины ноздри определяют, как ничего хорошего не предвещавшую: «*Всем немедленно вернуться Москву.*

*Роом*».

— Перековались! — заявил Оська после некоторого молчания, последовавшего за всенародной читкой этого высочайшего рескрипта. — Возвращаемся в семью трудящихся. Г-м, чёрт возьми... Не иначе как Абрашку кто-то подсидел!..

С нашей со Штоссом стороны комментариев не последовало. Оська помолчал, потом встал и, флегматичным жестом взвалив на бок свою шарманку, заявил:

— Гайда, ребятаки, пошли — нажрались напоследок! Пусть наше пролетарское отечество примет нас с полными желудками!

Мы встали и мрачной вереницей двинулись на фабрику-кухню.

— Неисповедимы пути аллашьи, — говорил Оська, когда мы в том же хмуром молчании доедали свои последние бифштексы, — но что-то чует мое материнское сердце — убаюкал там кто-то Абрашку!.. Пить дать— убаюкал!.. — и он, качая головой, заказал подавальщице пятнадцать бутербродов с колбасой, сославшись на то, что мы сегодня едем на станцию и вернемся только завтра утром. Подавальщица помялась, но, выслушав от Оськи несколько как бы невзначай отпущенных комплиментов, повиновалась.

К вечеру мы, собрав свои немудреные *omnia mea*, заявили Дегтяреву, что нас срочно вызывают для читки сценария, получили пропуска и, доехав на коммунальной телеге до станции, погрузились в поезд на Москву.

Подъезжая к Москве, Оська принялся развивать идею о том, чтобы зайти, по приезде, к нему на квартиру и полить наше возвращение в лоно семьи трудящихся литровочкой под бутерброды. Но на вокзале он отдал их все юному правонарушителю, который еще не знал, что такое советская пенитенциария, и спал, свернувшись калачиком, между мусорным ящиком с надписью МКХ\* и пирамидой глиняных водосточных труб.

— На! — сказал он мальчонке, разбудив его пинком ноги в то место, где бывшие когда-то штаны сливались по цвету с шершавой кожей костистого окорока. — На! И пусть тебе тоже на полное пузо приснится счастье человечества!

\* Московское коммунальное хозяйство.

\* \* \*

События следовали с чарующей быстротой. Ни в этот день, ни в эту ночь мне не удалось попасть домой. Встретивший нас подле вокзала Мечерет сообщил нам, что три дня тому назад на фабрике был наконец получен сценарий Горького и что в связи с этим там стоит некоторый переполох. Он советовал нам возможно скорее навестить Роома, потому что, по его мнению, на Роома напала падучая и бог весть чем все это кончится. На этом его информация исчерпывалась, но ее было достаточно, чтобы заставить нас на ходу вцепиться в свободные от человеческих тел буфера и поручни первого же проезжавшего трамвая и срочным аллюром добраться до первой звуковой.

\* \* \*

Тщательный обыск, которому была подвергнута звуковая, не дал никаких результатов. Роома там не было, и об его местонахождении никто ничего толкового сказать не мог. Но, вспомняв свои старые знакомства, я отправился в коммутатор к Нин Палне в надежде обрести из ее уст свет истины.

Коммутатор превратился в лавочку сумасшедшего часовщика. Несмотря на почти полудневной час, он, казалось, был наполнен тысячами рехнувшихся будильников, из которых каждый на свою ответственность звонил, трещал, хрипел и тикал одновременно. В центре всего этого столпотворения металась расхлыстанная Нин Пална, дирижируя вместо палочки контактами, тыкая их, по-видимому, совсем уже куда попало и покрывая всю эту симфонию душераздирающими воплями о помиловании. — Уйдите! Повесьте трубку, я вам говорю!.. Нету двадцать шестого! Да, уже дала! Я вам говорю — я не могу разорваться! Да-а, даю! Кончили?! Да, сорок пять! Нету сорок пять!

Я вошел и, постояв с минуту перед входом в эту камнедробилку, на цыпочках обошел коммутатор и стал против Нин Палны, облокотившись на один из коммутаторных шкафчиков. За время моего отсутствия их вместо одного стало три; я бы сказал, обратно пропорционально самой Нин Палне: от ее бывшей

толстенькой, кругломорденькой фигурки осталась, не вдаваясь в подробности, ровно одна треть. Я бы сказал — кожа да кости.

.....

В этот момент оставшаяся треть Нин Палны издала что-то вроде лебединой песни, бросила штук восемь накопившихся в ее руках контактов и повернула какой-то рычажок под столом, после чего все три чудовища разом замолкли и наступила гробовая тишина. Нин Пална с предсмертным стоном шлепнулась в свое вертящееся кресло, руки ее взметнулись, как концы лопнувшего буксирного каната, и бесильно повисли.

— Вас, я вижу, можно поздравить с прибавлением семейства! — бестактно заметил я, указывая глазами на коммутаторы.

Она исподлобья бросила на меня обморочный взгляд.

— С ума сойду! Пусть их повздыхают все. Не могу больше. Алька больна, восемнадцать часов дежурю. Потылиху еще включили на мою голову, сволочи...

Я издал неопределенный соболезнающий звук. Потом сообразил, что нужно же чем-то себя проявить.

— Дать вам водички, Нин Пална?

— Дайте... — слабо реагировала она.

Я вихрем смотался в буфет и принес ей бутылку хлебного квасу.

— Пейте, вы, несчастье!

Она безмолвно вылакала всю бутылку прямо из горлышка, немного приободрилась и, женским чутьем учуяв цель моего прихода, тихим, как на смертном одре, голосом заговорила:

— Басс тут получил сценарий... Не хотел его давать Роому... Они тут с Балабановским передрались у Басса... Роом ему чуть глаз не вырвал. А потом Балабановский вдруг приходит, отдает сценарий Роому, а сам сматывается на Кавказ. Мы тут все чуть не лопнули: что такое? А Роом на следующий день начинает бегать как очумелый и по двадцать раз звонить Бассу на Потылиху. Басс чего-то звонит на Лубянку, Лубянка — Роому, Роом опять Бассу, наконец Басс берет сценарий к себе и, кажется, отдает его в ГУК. Сегодня они с самого утра все четверо перезваниваются: Басс, ГУК, Роом, Лубянка, ГУК, Роом, Басс и так все время, с пяти утра! Сейчас сказали, что если бу-

дет звонить Лубянка, чтоб я дала прямой провод к Бассу. Но Лубянка вот уж два часа молчит...

— Так вы... умная! — в ужасе заорал я. — Так вы хоть слушайте, кто звонит, а то позакрывали все, а теперь вдруг — Лубянка?! Они ж вас утюкают на корню, ежели вы Лубянку прозеваете!

Она испуганно-вопросительно посмотрела на меня:

— Утюкают?..

— Ну, ясно — утюкают! Чучело! Басс вас вместе с вашим коммутатором проглотит!

Она остекленело посмотрела на коммутатор, как будто перед ней открылась какая-то жуткая и непредотвратимая истина.

— Ой, боже ж!.. Верно, что проглотит!.. Юрочка, дорогой, идите вы к чёртовой бабушке, мне работать надо! — и она схватилась за рычажок, который должен был снова вернуть к жизни коммутаторы.

Я легонько схватил ее за плечо:

— Нин Пална! Любушка! Я через полчаса загляну: ежели там — что... Лубянка... так уж вы там... Э?

Она на секунду через худенькое плечико заглянула мне в глаза, чуть заметно кивнула и повернула рычажок. Коммутатор гаркнул и забесновался...

\* \* \*

Но судьба, как всегда, хотела иначе... Выйдя во двор фабрики, я попал на гарпун Абрам Матвеевичу, который, обложив меня всеми существующими и вновь изобретенными богохульствами, послал меня на Потылиху с наказом живым или мертвым отыскать Зольцмана и прицепить его с того конца к проводу, на этом конце которого будет терпеливо дожидаться сам Абрам Матвеевич.

Проведя часа четыре в поисках, я с отчаяния решил уведомить Роома об их бесплодности. Но, поднеся к уху телефонную трубку, я сообразил, что все мои усилия, даже если бы они и увенчались успехом, были бы тщетны: из трубки лилась гробовая тишина межпланетного пространства, не прерываемая даже треском электрических разрядов.

Я дунул в трубку. Она была мертва.

— Там, кажется, где-то кабель лопнул! — заявил мне секретарь ПРО, откуда я звонил.

— Да... Кабель... — ответил я и со стереоскопической живостью представил себе, как уютно свернулась калачиком Нин Пална где-нибудь на плюшевом диванчике за коммутаторными шкафчиками.

К концу ночи, пока я мотался по Потылихе в поисках Зольцмана, у меня где-то в том месте, которое философы называют душой, а боксеры солнечным сплетением, стало постепенно нарастать какое-то неясное беспокойство.

Меня целую неделю не было дома, и мне почему-то казалось, что там за это время должны были нагнать некоторые события... Был уже конец августа — т. е. самое время для всякого рода плавающих, путешествующих и драпающих. Мне внезапно пришла в голову мысль о том, что теперь уже время нас догнало и что от него никуда не денешься... Еще максимум две недели, и время выпихнет нас в карельскую тайгу...

А что сделано? Разве мы готовы? Или, может быть, за эту неделю кое-что уже сдвинулось с места?..

Вообще, к концу этой ночи у меня появилось настроение, которое немцы очень метко называют «Reisefieber» — путешественная лихорадка. Пятки внезапно зачесались. «Союзкино» с его Роомами, Бассаами и горьковскими сценариями представилось маленьким и пустопорожним, как сцена марионеточного театра, и стало даже как-то жутковато при мысли о том, что на всю эту суетную ерунду в такое время я потерял целую неделю...

На каком-то пункте это ощущение торичеллиевой пустоты под ложечкой настолько разрослось, что затмило собой все остальные человеческие чувства. В том числе и чувство долга. Когда же в ответ на мои бессонные ночные хлопоты из телефонной трубки последовала саркастическая тишина, торичеллиева пустота сожрала меня всего — я подцепился в качестве слепого пассажира к бассовскому автомобилю, потом, в городе, пересел на «букашку»\*, поймал на Курском вокзале облипший людьми хвост уходящего поезда и часам к семи утра был дома, в нашей голубятне.

Дома все еще спали. Но, произведя в рассуждении, чего бы пожрать, рекогносцировку,

\* Трамвай «Б» — Садовое кольцо.

я обнаружил на столе придавленную пустой бутылкой телеграмму:

*«Устройте пластинки двадцать четвертому сентября. Боб».*

Это и было заднее колесо...

\* \* \*

На мгновение мне почудилось, будто кто-то вдруг наполнил всю мою оболочку шипучим лимонадом... Пузырьки какого-то безотчетного страха забулькали вверх по спинному мозгу, образуя в голове пену, от которой шипело в ушах и приподнимало волосы на затылке.

Узенькая ленточка яркого света, протиснувшись между прикрытыми ставнями, сползала на кровать и там причудливо ломалась в первозданном хаосе из подушек, более или менее рваных одеял и отдельных частей тела моего невозмутимого предка. Нос его мягкой грушей покоился на собственной ладони, а перед ним, сантиметрах в десяти, чуть колыхалась от дыхания торчавшая из подушки белая пушинка. Где-то, заглушённый ставнями, кукарекал петух, а еще дальше, из Никольского, доносился звон единственного, оставленного на всю округу колокола. Должно быть, было воскресенье. При пятидневке крещеный люд потерял счет воскресеньям и узнавал о них только случайно: по календарю или по звону осиротелых колоколов.

— Благодать! — иронически подумал я. — И как это он только умудряется спать в такое время?..

Я только потом узнал, что заснули в доме совсем недавно, что с вечера была у нас Ирина и что военный совет кончился только в пять утра. И что меня уже собирались телеграммой вызывать из Болшева, а Степушке было по телефону наказано перебираться со всеми своими манатками сюда, к нам, на предмет осмотра и санкционирования их специалистами. Степушка, старая милая бухгалтерская крыса, вырос на гроссбухах и балансах и, кроме поистине виртуозного искусства варить суп, никаких практических жизненных навыков не имел. Откуда ему было знать — как упаковывается рюкзак или смазываются сапоги и какого формата должны быть портянки, чтобы они не жали и не терли, но баюкали ногу, как новорожденного!

Степушка был принят нами в компанию без каких бы то ни было эгоистических соображе-

ний. Толку нам с него было как с козла молока. Но с другой стороны, он и не слишком мешал, не пугался под ногами и предоставлял делать с собой более или менее все, что прикажут. Он сам о себе говорил, что он — человек робкий, да оно и так ясно было, что в случае чего расчету на него никакого быть не могло: сдрейфит, скиснет, сядет на землю — и не унесешь его!

Но единственные на всем свете Степушкины родичи жили где-то в Эстонии, а сам он, проведя последние десять лет за границей — кассиром в берлинском торгпредстве, — настолько не был приспособлен к советской действительности, что здесь его рано или поздно ждала либо голодная смерть под каким-нибудь забором, либо пуля в чрезвычайке. Неудобным человеком был Степушка для советской жизни: честным, дотошным, советской отчетности или статистики вовсе не понимал и все удивлялся — почему это два да два по-советски не четыре выходит, а, допустим, двадцать восемь... Не любят таких людей в Советской России...

Вот мы и взяли его с собой, как старого знакомого.

— На ваш собственный риск и страх, Степан Никитич! — говорил ему Ваня. — Вы ведь понимаете — мы сами идем и вас с собой берем без никакой гарантии добраться на ту сторону в живом виде! Пришлепнуть могут по дороге, как тютельку!

— Да... да... да... — мелко придакивал Степушка; чмухая после каждого «да» своим тапирьим хоботком и нервно, без всякой надобности, поправляя прыгающими руками половинчатые конторские очки в золотых ободках. А морщинистые глазки становились круглыми, и в них с предельной ясностью отражалось, как это нас по дороге «пришлепывают» из пулемета, а то, может быть, даже из пушки, большой пушки, наверное, двенадцатидюймовой...

В нашей компании Степушка занимал, я бы сказал, то неясное положение, которое занимает пятое колесо в телеге. У нас он чувствовал себя, как украденный ребенок в шайке благожелательно настроенных гангстеров. Относились к нему все, как к какому-то слабосильному, но драгоценному заложнику, который, с одной стороны, был комичен и порой надоедлив своей беззащитностью, а с другой — обещал принести хороший выкуп и требовал за собой потому особенно неж-

ного ухода. Выкупа, конечно, никакого не предвиделось, но отношение тем не менее было именно таким: считалось почему-то вопросом чести довести Степушку в живом виде до Эстонии и сдать его там под расписку его братьям.

Больше всего страха нагоняла на него Ирина. Она была тем типом женщины, из которого выходят всяческие Жанны д'Арк, Шарлотты Кордэ и вообще — спасительницы человечества. Она была женой моего дядюшки, а это уже само по себе что-нибудь да значит! Две длинные русые косы, точенный из воска профиль, как рисуют на иконах, и лютое непримиренчество ко всей мужской половине человечества. Из всех виденных и не виденных ею в жизни мужчин относительно достойными уважения она считала дядю Ваню и Бориса, к прочим же носила в своей груди глубочайшее презрение, смешанное даже с ненавистью. Мужской властью над миром она объясняла весь тот кабак, который окружал ее спереди и сзади, и вела весьма интенсивную и порой небезуспешную суффражистскую пропаганду среди своих бедных угнетенных товаров.

В Степушке она видела лишнее подтверждение своей теории: «вот вам, тоже — мужчина!..» А мужчина из Степушки был, что и говорить, действительно не ахти какой. За это он имел возможность пользоваться Ириной если не жалостью, то, во всяком случае, покровительством: «ну куда ему, бедному, — он же мужчина!»

Ирина руководила его экипировкой и держала его в черном теле.

— Очки нужно другие, Степан Никитич! Эти у вас на первом суку останутся!

— Но как же другие? — беспомощно апеллировал Степушка. — Я ведь без этих читать не могу! И писать — тоже!

— Вам, Степан Никитич, читать-писать не придется! Да и вообще — вам дальше, чем под ноги, смотреть не придется: идите себе — куда поведут! А очки достаньте другие и привяжите веревочкой, если совсем без них не можете.

— Но ведь это очень дорогие стекла! — цеплялся еще Степушка. — Я их специально в Берлине у Цейсса заказывал! Можно я их хоть с собой возьму!

— Не надо вам всякого барахла с собой тащить! И так, небось, кряхтеть будете. А снявши голову, по очкам не плачут!

Когда дело доходило до снятия головы, Степушка замолчал, и в глазах его снова отражалось то же двенадцатидюймовое орудие.

\* \* \*

«Устроить пластинки к двадцать четвертому сентября» — означало, что к этому времени Борису удастся на день-два вырваться из своего Орла, как раз на столько, чтобы успеть незамеченным добраться до станции Суна Мурманской железной дороги. Эта деревушка — после долгих, очень долгих и очень тщательных размышлений, пересудов и военных советов — была избрана нами для роли трамплина, с которого мы проектировали наш прыжок из социалистического рая на бrenную землю.

Последнее время Борис находился в более или менее человеческих условиях так называемой «вольноссылки» в городе Орле, откуда временами имел возможность наезжать в Москву на два-три дня «для закупки фотоматериалов». В Орле он занимал высокоответственную должность редактора, технического директора и единственного репортера своего собственного халтурного детища — районной световой газеты. В функции этого предприятия входило освещение вопросов соцсоревнования и ударничества в паровозных депо Орловского железнодорожного узла, культпросвет и, главное, — «выявление», «разоблачение» и «приковывание к позорному столбу» всяческих «лодырей» и «прогульщиков». Таковые Борису указывались «перстом свыше», и ему оставалось только прийти, снять их в анфас и в профиль и продемонстрировать потом их портреты на экране перед жиденькой публикой, зашедшей от скуки советской жизни в местный клуб. Функции несложные... Но ни фотопластинок, ни фотобумаги в Орле было, разумеется, не достать, и непосредственное начальство — в данном, как и во всех прочих случаях, ГПУ — предпочитало закрывать один глаз на незаконное передвижение вольноссылного Солоневича. Ему предоставлялось раз эдак месяца в два улизнуть из-под опеки недреманного ока, более или менее легально проехать в поезде до Москвы и там уже передвигаться на собственный риск и страх: пойма-

ют — пеняй на себя. А поймают — это означало статью о побеге из ссылки: снова Лубянка, снова лагерь, а быть может, даже — снова Соловки.

Другими словами — времени терять было нечего. В своем распоряжении Борис имеет максимум два дня — значит, тогда уже будет поздно предпринимать что бы то ни было: к этому времени все должно быть тип-топ, каждая пряжка на своем месте, каждый сапог смазан и каждая ксивенка\* — за соответствующими печатями.

А с «ксивой» дела у нас обстояли следующим образом. Передвижение очкастой и вооруженной публики по таким гиблым, таким пограничным и таким лагерным местам, как Карелия, да еще в такое время года, не могло бы не вызвать подозрения как со стороны первого встречного, так и со стороны тех райских черберов, с которыми мы рисковали столкнуться в лесу. Предполагалось, что вступать в перестрелку с пограничниками мы станем только после того, как будем уверены в непосредственной близости границы. В случае встречи с ними в местах населенных предполагалось открыто выступить с белым знаменем вперед, заявить, что мы заплутались в тайге и просим «дорогого товарища» вывести нас из этого дурацкого положения. «Дорогой товарищ» провел бы нас в ближайшую комендатуру, и вот тут-то, в случае, если бы не удалось «втихую» разделаться с «товарищем» по дороге, необходимы были документы, способные развеять всякие подозрения и заставить погранпункт переслать нас в худшем случае обратно в Петрозаводск.

Таковыми документами могли быть только мандаты от каких-нибудь центральных научно-исследовательских институтов, по которым выходило бы, что мы — научно-исследовательская экспедиция, отправленная в недра Карелии с целью произведения каких-нибудь этно-, топо-, гео- или гидрографических исследований. Мандаты должны были быть заверены и подкреплены всякими справками, удостоверениями, членскими книжками и прочей советской требухой — чем в большем количестве, тем лучше. Наряду с этим нам надлежало иметь паспорта и какие-нибудь специальные, особо типичные для советских условий, бумажки, подделка которых не пришлось бы в голову никакому иностранному шпиону или диверсанту. Так, напри-

мер, в прошлом году, когда Ваня в первый раз делал по этим местам разведку местности — его спас из весьма неприятного положения старый, чуть ли не на два года просроченный, сезонный железнодорожный билет, по которому он все еще по инерции продолжал ездить из Салтыковки в Москву и обратно. Билет этот имел такой вид, как будто кто-то его долгое время носил в качестве стельки в сапоге, прочесть на нем было уже ничего нельзя, но к нему была прилеплена фотография со штемпелем московско-нижегородской железной дороги. Партийным обормотам в селе Сопоха, где отца сцапали для проверки, внушали сомнения и паспорт, и мандаты, и справки, и удостоверения, но когда во время обыска была обнаружена сия реликвия, все сомнения развеялись, как предрассветный туман, и Ваня был даже — из чистой любезности — доставлен на грузовике в Петрозаводск.

— Вот это я понимаю — документ! — заявил ему сопохский предсельсовета. — Тут оно уж, конечно, факт, что вы московский! А то знаете — много их, сволочей, оттедова перелазит: вроде будто и все в порядке, и документ справный, и печать на месте, ан глядишь — у его в подштанниках, во шву, целая переписка: то англичанин какой, а то — просто так — белобандит!

— Ну-у? — удивился батька. — Ишь — сволочи! Значит — все больше оттудова бегают? А я так думал — у вас и своих бегунков достаточно!

— Э-э, какой там — своих, — пренебрежительно отозвался предсельсовета. — Кто там через нас побегит! Кому шкура недорого, что ли? Они там фашисты — вы знаете что делают? Глаза выкалывают и на муравья сажают, пока не сдохнешь! Уж это — сволочь известная! Да и опять же через наши-то болота — поди проберись! Нет, уж оттудова — кто пойдет!

— О-го! Значит, финны нашего брата тоже боятся? Глаза, говорите, выкалывают? А вы не настаиваете — чтобы обратно выдавали?

— Ну да! Выдадут они обратно — чёрта с два! Уж как к ним в лапы попал, значит, пиши — крышка! Дак и мы им тоже обратно не отдаем. Уж как наши герои поймают кого — так мы тоже спуска не даем! Сколько их вот так — тут же на заставе — в поле — и хлоп! Долго с ними еще морочатся!

---

\* Фальшивка.

### Задержки высшего порядка

Предстояло раздобыть всю эту «бумажную» экипировку, предстояло еще тем или иным способом благоприобрести нехватящую часть оружия, продовольствия, сапог, накомарников и прочего, но все это не было основным. Все это было более или менее пустяками.

Основным была Тамочка. Участи лесного побега она избежала, разведясь на скорую руку с Ваней и выйдя замуж за иностранца. Точнее — должна была избежать. Предполагалось, что, получив посредством этой комбинации иностранное подданство, она автоматически вольна будет сесть в поезд на Негорелое, и тю-тю! — ищи-рыщи ветра в поле! Но тут заела сталинская забота о человеке: выяснилось, что материнские инстинкты советской власти простираются и на тех из ее чад, которые, отбившись в иностранное подданство, уже, казалось бы, вышли из-под ее крылышка. Получить иностранное подданство оказалось в десять раз легче, чем выбраться из советского.

— Зачем вам лишаться советского подданства? — говорили Тамочке в НКВД. — Вы подумайте только, вы ведь навсегда лишаетесь права въезда к себе на родину! Попадете в фашистскую Европу — волосы будете на себе рвать!

Насчет волос Тамочка ничего не могла сказать — тут нужно было быть кротким, ако голубь, и мудрым, ако змий. Пока над ней тяготела эта каинова печать пятиконечной звезды — ей могли просто не дать выездной визы, и никакие заступничества консульства ничего бы не помогли.

— Да, но мой муж возвращается к себе на родину — не могу же я с ним из-за этого расставаться!

— Ну, это же так просто! Уговорите его остаться здесь — и все будет в порядке. Чем ему здесь плохо? Мы дадим ему работу...

Словом, НКВД за неимением законного повода не отпускать Тамочку, выражаясь по-советски, «шилось». Ее по очереди уговаривали штук двадцать чиновников, ее усиленно кормили обещаниями и завтраками, а она все долбила, долбила и долбила в одну точку. Процедура эта длилась уже около года.

«Хорошенькое дело, — думал я. — Двадцать четвертое сентября... Не успеет!.. Или, может быть, за это время она уже чего-нибудь успела добиться?» Проходя по коридору, где стояло, прижимая

прохожих к стенке, мое прокрустово-спартанское ложе, я старался балансировать на узенькой доске в полу, единственной, кажется, во всем доме, которая не скрипела. Но, споткнувшись в полутьме обо что-то мягкое, лежавшее не на своем месте, сделал в воздухе пируэт и поднял душераздирающий скрип. Камнем преткновения оказался, при ближайшем рассмотрении, Ирочкин рюкзак — упакованный, утороченный и смазанный рыбьим жиром.

— Ого! — подумал я. — Кое-что уже, значит, готово!

— Кто это?.. — раздался из второй комнаты перепуганный Тамочкин шепот.

— Я, Сисипапа! — ответил я тем же шипом. Наименование «Сисипапа», как и вся почти наша семейная терминология, вело свое начало от тех дней, когда человеку даже родной язык кажется каким-то санскритом. Будучи девчуркой, Тамочка как-то раз транспортировала в фартучке кучу орехов. Ножонки споткнулись, ручонки разжались, и орехи покатались по полу. Недоуменно-испуганный взгляд к матери:

— Сисипапа!

Это значило — «рассыпала».

Так с тех пор Тамочка и ходила «Сисипапой».

— Ты, Юрчик! Ну, слава Тебе Господи! Что ж ты, дурашка, так заканителился! И не пишешь, главное, ничего! Мы тебе уже телеграфировать хотели! Там от Боба телеграмма пришла — он...

— Видал уже, — я вынырнул из мягких, теплых и всегда так уютно пахнувших складок Тамочкиного одеяла, куда нырнул с налету, и чмокнул ее куда-то в окрестности носа. — Но только ты, каракуля, — что ж ты себе думаешь?! Ведь ты ж до двадцать четвертого никуда не поспеешь!

— Нет, теперь уже, наверное, поспею: позавчера была в РКИ — они сказали, что это безобразие, что они нажмут и что я через неделю могу ехать.

— Так это тебе уже сколько раз...

— Нет, теперь уже, кажется, наверняка!

— Ну, наверняка так наверняка! — Я одной рукой стащил ботинки, переполз через Тамочку к стенке и, прикорнувши, заявил:

— А я ни черта не спал сегодня! Уфу-уфу!

Проснулся я только вечером.

*(Окончание следует)*

